



Сохрани мою речь
Сохрани мою речь

*Российский
государственный гуманитарный университет*

Мандельштамовское общество



Записки Мандельштамовского общества

Сохрани мою речь

3/2

*Воспоминания
Материалы к биографии
Современники*

Москва, 2000

УДК 929+82
ББК 83.3 (2Рос=Рус)6
С 54

Издание подготовлено
Кабинетом мандельштамоведения
научной библиотеки РГГУ

Составители:
О. Лекманов, П. Нерлер,
М. Соколова, Ю. Фрейдин

Художник М. Гуров

ISBN 5-7281-0378-2

© Колл. авторов, 2000
© Российский государственный
гуманитарный университет, 2000

ПАМЯТИ
ИОСИФА БРОДСКОГО

П. Нерлер

МАНДЕЛЬШТАМОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ЛОНДОНЕ

“Петух и лев, широкохмурый орел и ласковый медведь...” – это сквозь зубы процеженное “лев” – единственное, чем одарил Англию в своем замечательном “Зверинце” Осип Мандельштам. Боготворя Европу, почитая ее новою Элладой, поэт решительно противопоставлял ей Англию. “Не любили раньше англичане, – утверждал он, – европейской сладостной земли...”, и поэтому “Ни любви, ни дружбы нам не надо Альбиона каменных гостей”. Тут процитирована ранняя редакция стихотворенья “Собирались эллины войною...”, а заканчивалась она так:

...На священной памяти народа
Англичанин другом не слывет,
Развалит Европу их свобода,
Альбиона каменный приход.

Чем же “ответил” Альбион на этот выпад, на этот настороженный, недоверчивый взгляд, на это чуранье всего английского, включая язык (общеизвестно, что Вальтера Скотта и Майн-Рида Мандельштам “переводил” с французского)?

Ответил достойно – превосходным симпозиумом, организованным славистами Лондонского университета. Кажется, это самый основательный зарубежный отклик на столетие Осипа Эмилевича (у нас – в Москве, Ленинграде и Воронеже – прошли мандельштамовские конференции, в трех этих городах установлены замечательные

доски в его честь; наконец, родилось в юбилейные дни и Мандельштамовское общество).

Без риска ошибиться: конференция в Лондоне была самой яркой и самой цельной из всех. Жаль, конечно, что на нее не смогли приехать такие знатоки, как Ральф Дутли и Ефим Эткинд из Парижа, Омри Ронен, Лазарь Флейшман и Борис Гаспаров из различных американских городов, и особенно жаль, что не прозвучали в Лондоне голоса тех, без кого русское мандельштамоведение непредставимо, – дрожащий шепот Александра Морозова и рокоочущий баритон Владимира Микушевича...

Но вернемся к тому – и тем, – кто счастливо оказался внутри массивного куба светлого и, признаюсь, жутковатого снаружи университетского здания, с которого, говорят, Оруэлл списывал архитектуру своего Министерства Любви. Внутри же – уютно, удобно и неказенно: устроители (русисты Диана Мейерс, Джулиан Грэффи и другие) сделали для этого все возможное – и кое-что невозможное.

Конференцию открыл Иосиф Бродский – и словно закипела вода в ученом графине. Не покушаясь ни на чьи приемы и навыки, поэт продемонстрировал свою орудийность – силу поэтических мысли и интуиции: оставив аналитикам их анализы, сам же переключился на жанр, который, кажется, тут же, по ходу дела, и создал, и назвал – жанр “интуитивного синтеза”. Ходом и высотой своей мысли Бродский задал тот уровень и тот тон, углубляться вниз и в сторону от которых было бы стыдно, потому что очень заметно. Говорил он о двух стихотворениях: “С миром державным я был лишь ребячески связан...” и “Золотистого меда струя из бутылки текла...”. Начало первого он воспринял как заполнение своеобразной анкеты, тайная цель которой – тест на совместимость со временем. Здесь, как и во многих других стихах Мандельштама, слышен “наивный фальцет ребенка”: в упор, не отводя глаз смотрел поэт на мир, на свой город, на “тех европейнок нежных” – чистыми, незамутненными глазами ребенка и вместе с тем глазами усталого и измученного веком человека, буквально только что, днями встретившего свое 40-летие...

Отвечая на вопросы, Бродский разразился вдохновенной импровизацией и по поводу третьего, своего самого любимого у Мандельштама, стихотворения “Сохрани

мою речь навсегда...” (заметим, что по ходу прений Бродский подверг своему “интуитивному синтезу” по меньшей мере 10–12 стихотворений).

Вальяжность позы, незажженная сигаретка между пальцами и даже английская какая-то огласовка никого в заблуждение не ввели. Взволнованная, запинаящаяся в поисках нужного слова, мгновенная и очень живая, личная реакция на все сказанное с головой выдавали в Бродском не “нобелевского мэтра” (хоть и не отказать ему в уверенности в себе и своем), а блестящего русского поэта, неожиданно оказавшегося в какой-то особенно родной и драгоценной атмосфере.

Что это была за атмосфера? Юрий Иосифович Левин признался, что происходящее в зале заставило его вспомнить конец 60-х годов – расцвет “кухонного мандельштамоведения”, когда в импровизированно-семинарском табачном чаду закладывались основы не одного, а нескольких направлений исследования творчества Мандельштама.

Созвездие имен, собранных конференцией, впечатляет уже само по себе: И. Серман, Р. Тименчик, Д. Сегал и С. Шварцбанд из Израиля, Б. Янгфельдт из Швеции, Н. Струве из Франции, У. Роте из Германии, Ч. Изенберг и Д. Мальмстад из США, С. Аверинцев, М. Гаспаров, В. Иванов, Г. Левинтон и другие из СССР. Докладами были представлены едва ли не все существующие подходы, кроме разве что исторической поэтики А. Морозова. Как и следовало ожидать, многие доклады относились к интертекстуальной поэтике, где исследователь ищет – и во множестве находит – косяки разнообразных литературных подтекстов и аллюзий. Такого рода поиск, как правило, замкнут на эльзовские огоньки единичных слово- и фразеупотреблений и сильно зависит от эрудиции и остроумия исследователя, хоть проводи уимблдонские турниры; зато – и конференция это еще раз подтвердила – все чаще обходятся без концептуального, целостного прочтения и понимания стихотворения (попытку вернуться к основам этого подхода, т. е. к установлению связей между мандельштамовскими и чужими произведениями на уровне именно целостного смысла тех и других, предпринял едва ли не один Л. Кацис, доказывавший прямое влияние на “Стихи о неизвестном солдате” байроновской поэмы “Видение суда”).

Разумеется, подтексты можно искать и находить не только в литературном, но и в историческом процессе. Иногда это сводится к поиску прототипов (своего рода скрытых адресатов) стихотворений, но и здесь та же опасность. Так, высказанные одним из докладчиков предположения о связи между “вождем, в слезах берущим на себя бремя власти” и патриархом Тихоном выдерживают от силы лишь первые пять строк этой загадочной “Оды миру”. Тот же Бродский говорил об опасности встраивания поэта в историю или, что еще спекулятивней, в конфессию: мир поэта и природа его дара таковы, что в рамках конфессионального канона подлинному поэту будет заведомо тесно, – недаром мандельштамовский космос включает в себя значительные элементы и эллинского, и иудейского, и православного, и католического миров. Это заставило профессора Дмитрия Сегала из Иерусалимского университета сделать остроумную оговорку, что предмет его занятий – своего рода реконструкция встраивания не Мандельштама в историю, а истории в Мандельштама. В этой связи очень интересным показался доклад отсутствовавшего на конференции Б. Гаспарова под щекочущим слух названием “Извиняюсь!” – доклад, посвященный не событийной, а глубинной оппозиции между критиком-пуристом А. Горнфельдом и О. Мандельштамом.

На конференции обсуждались и столь важные (хотя бы в чисто издательском ракурсе) вещи, как композиция поздних стихов Мандельштама, метрические циклы поэта. Больше всего говорилось, пожалуй, о двух стихотворениях – о “матках” соответственно второй и третьей воронежских тетрадей: об оде Сталину и “Стихах о неизвестном солдате”. Кажется, отношение к “Оде” понемногу меняется, ее не просто принимают всерьез, но видят в ней одну из вершин (“не провал, а промер”).

Событием, взволновавшим конференцию, стало и выступление Ю.И. Левина, приехавшего в Лондон, оказывается, для того, чтобы заявить о своем отказе от дальнейших исследований творчества Мандельштама ввиду крайней несимпатичности и неподходящести, на его взгляд, для таких занятий настоящего времени. Что все-таки противоречило уже процитированным выше высказываниям о возрождении в Лондоне старинного московского духа кухонного мандельштамоведения. Как бы то

ни было – общую озабоченность выразил Роман Тименчик, призвавший Ю. Левина не покидать лоно мандельштамоведения.

Заявление Ю. Левина примечательно, как мне кажется, еще и тем, что лишний раз доказало: Мандельштам – не академическая, не филологическая проблема, это сгусток поэтической, пророческой энергии, лично затрагивающей и “царапающей” каждого читателя. И не даром его строчки о Нагорном Карабахе и “аравийском месиве, крошewe” как бы просятся в эпиграфы ко вчерашним и нынешним историческим катаклизмам – такова уж природа поэтического гения.

М. Павлов

БРОДСКИЙ В ЛОНДОНЕ, ИЮЛЬ 1991

Предмет любви всегда является предметом бессознательного анализа, и только в этом смысле нижеследующее, возможно, имеет право на существование.

И. Бродский. Из доклада на симпозиуме в честь столетия Мандельштама. Лондон, 1991.

В редакционном вступлении к сборнику материалов симпозиума, вышедшему в 1994 г.¹, его составители Робин Айзлвуд и Диана Майерс посетовали на то, что за рамками сборника вынужденно осталась атмосфера, царившая на конференции, и дискуссии по докладам. Цель приводимых ниже материалов состоит в том, чтобы по мере сил восполнить этот пробел, а также, может быть, пролить несколько дополнительных капель света на вопрос о соотношении Бродского и поэзии Мандельштама и добавить один-два штриха к портрету самого Бродского в зеркале диалога с лучшими представителями современной словесности.

* * *

Конференция, о которой идет речь, проходила 1–5 июля 1991 г. в Институте славянских и восточноевропейских исследований Лондонского университета (“Senate House”), представляющем собой серое, многоэтажное, довольно громоздкое здание в духе “сталинской” архитектуры 30-х годов, выстроенное, кстати, тоже в 1937 г. В одном из туалетов этого здания, просторном, облицованном до потолка белым кафелем, говорят, незадолго до того снимался эпизод фильма “1984” по Оруэллу.

Часть, а особенно такая нерепрезентативная, как туалет, не обязана отвечать за целое, но, по понятиям местных студентов, их родной институт действительно приводил на память нечто стерильное, выхолащенное и подавляюще-тоталитарное. Тем более оживляющим контрастом звучали в этих стенах разговоры о нормальных человеческих проблемах, в частности о вопросах изучения поэзии Мандельштама.

Рабочий день конференции строился следующим образом. Он делился на четыре блока (или “панели”), посвященных более-менее одной теме докладов, по два-три доклада каждый. Все заседания были пленарные. Для каждой “панели” назначался “discussant” – обозреватель из числа участников, компетентных в данной теме, но не докладывавших в данной “обойме”, в обязанности которого входило краткое рецензирование услышанного, после чего начиналась собственно дискуссия, продолжавшаяся обычно около получаса, затем объявлялся перерыв – время для отдыха и разных кулуарных дел. В силу такой организации оказывались задействованы как минимум три жанра научных выступлений: сами *доклады*, представлявшие парад методик и индивидуальностей; *рецензии* на доклады, в которые рецензенты, разумеется, вносили свое видение проблемы, свой темперамент, свою оценку услышанного, иногда нелицеприятную и довольно часто выходившую за рамки академического приличия (плюс это или минус, сказать не возьмусь; пару раз, например, звучала реплика о том, что прослушанный доклад, дескать, настолько плох, что говорить о нем не стоит, – но в тех случаях и вправду говорить было не о чем), – и *дискуссии*, в которых обсуждались доклады, оценки рецензента и проблемы, возникавшие попутно. Действие было срежиссировано очень динамично, так что дискуссии вспыхивали естественно и часто были настолько бурными, что перехлестывали регламент, для них отведенный.

Очень интересной во всем этом была роль Бродского: с одной стороны, это был Бродский самодостаточный, сам по себе интересный и так далее, но с другой стороны, это был Бродский, говорящий о Мандельштаме на Мандельштамовской конференции, собравшей едва ли не лучших представителей мировой славистики и уж во всяком случае почти всех лучших знатоков творчества Мандельштама. Причем нужно помнить, что конференция была именно научной и в зале присутствовало по крайней мере двое бескомпромиссных поборников строгой научной выверенности: М.Л. Гаспаров и Г.А. Левинтон. Как должен был повести себя поэт, являющийся в большой степени хозяином (“патроном”, вместе с так и не появившимся сэром Исайей Берлиным) этого мероприятия, имеющий, разумеется, много чего сказать о Мандельштаме, но не считающий себя ученым?

Для самого Бродского это, видимо, проблемы не составляло. Вступительная речь, произнесенная им (по его собственной формулировке, “бессознательный анализ или – лучше – интуитивный синтез” одного стихотворения Мандельштама), содержала, в обход научных раскопок, столько неожиданно убедительных для аудитории наблюдений и выводов, что Бродский сразу был воспринят – и принят – как человек, владеющий в подходе к Мандельштаму некой отдельной и целостной системой координат, с которой можно спорить, но нельзя не считаться – другими словами, как человек, который “знает не хуже, но по-другому”. Преимущество этой позиции, осознаваемое всеми, заключалось в том, что она представляла собой даже не позицию, а единую жизненную систему, в которую эрудиция и научная компетентность (чрезвы-

чайно высокая, особенно для непрофессионала) включались составной частью – вероятно, важной, но отнюдь не единственной и наверняка не самой важной. Особый строй личности давал поэту особое видение, в силу которого на деле выходило так, что многие его суждения, после того как они были высказаны, принимались как бесспорные – хотя по какой-то причине никто из ученых раньше до этого не додумывался или, по крайней мере, так не формулировал. Из приведенных далее отрывков дискуссий можно заметить, что в них Бродскому принадлежало как бы “последнее слово”: взгляд на проблему с особой точки зрения, которая была четкой и весьма последовательной: всегда выбирался тот вариант, который был проще, более объясним по-человечески и точнее вытекал из самого текста стихотворения, а не из культурологических “дебрей” (его словечко). И в большинстве случаев эти наблюдения были очень точны. В качестве примера можно обратить внимание на интерпретацию “*ласточки*” из стихов к Ольге Ваксель, на подход к сталинской “Оде” с личной, а не с социальной стороны; из примеров другого рода можно привести блестящую по смелости постановку вопроса о соотношении *культурного* и *христианского* в мировоззрении поэта и т. д.

В соответствии с местными традициями, перерыв после первой “панели” назывался “coffee”, после второй – “lunch” и после третьей – “tea”, приходившийся ровно на пять часов вечера, то есть на пресловутый five o'clock. На третьем этаже “Senate House”, в холле возле аудитории, где проходили заседания, был установлен стол, на нем стоял огромный, литров на сто, русский самовар – электрический, конечно, непонятно откуда здесь взявшийся; четверо английских студентов: Том, Роза, красавица Сара и еще одна, с югославским именем, – сменяясь, дежурили за самоваром. Кофе был растворимый, но со сливками – тоже, правда, растворимыми. Чай был растворимый – но зато с растворимым молоком и растворимым, естественно, сахаром. Ко всему этому подавались маленькие печенюшки, своим размером как бы подчеркивавшие, что к еде эти паузы должны иметь лишь косвенное отношение. Во время этих перерывов решались обычные кулуарные дела, имевшие или не имевшие отношение к конференции, в чем не было ничего необычного, за исключением, может быть, одного – того, что и тут присутствие Бродского постоянно ощущалось, вызывая дополнительный интерес, какую-то оглядку вполоборота: тут ли он еще, не ушел ли?

Обычно он был “тут” и, разумеется, нарасхват. К концу последнего заседания самовар остывал, студенты испарялись, в здании, и без того уже пустом, мы были едва ли не последними, за исключением, наверное, охраны. Все, что происходило дальше, относилось уже к индивидуальной биографии каждого из участников и вряд ли может быть включено в понятие “атмосфера конференции”.

Приведенное ниже представляет собой буквальную стенограмму нескольких отрывков дискуссий, в которых принимал участие Бродский, сопровождаемую фотографиями, сделанными на заседаниях конференции. Необычность формы записи состоит в степени ее буквальности. Я сознательно стремился передать речь так, как она звучала: не сглаживая шероховатостей разговорного стиля, не убирая повторяющихся словечек, не исправляя незаконных инверсий и т.п. – то есть стараясь свести до минимума ту неизбежную нормативную обработку, которая проводится при расшифровке интервью, стенограмм и других устных жанров. Бродский не пользовался готовыми формулировками; его мысль рождалась на ходу, в процессе речи, складывалась из возвратов, перебора вариантов, оговорок, массы вводных слов, подчеркивающих сознание приблизительности рождающихся формулировок, многих других нюансов – и именно в этом виде я старался ее зафиксировать. Дополнительный пафос такой дотошности диктуется тем, что страшно не хотелось бы, чтобы Бродский бронзовел и покрывался лоском, – это была бы самая большая несправедливость, которую можно допустить по отношению к поэту и самая большая глупость со стороны тех, кто живы. Пиетет хороший помощник, когда строишь памятник, но плохой, когда имеешь дело с тем, кого любишь.

При передаче устной речи на письме, несмотря на все стремление к точности, многое теряется: модуляции, интонационная игра, тембр, эмоциональная окраска голоса, мимика и тому подобные средства невербальной коммуникации, передающие, как известно, более половины всей информации при общении; система же “интонационной нотации”, годная для таких случаев, совершенно не разработана. Хотя она, вероятно, не очень-то и нужна в эпоху общедоступного видео, но в данном случае, когда видеозаписи заседаний не существует, а аудиозапись в силу ряда понятных причин невозможно издать массовым тиражом, несовершенства письменной передачи устной речи воспринимаются как весьма досадное зияние.

Материал приводится по записи, имеющейся в распоряжении Мандельштамовского общества. Здесь необходимо сделать еще одно замечание. От Института славянских и восточноевропейских исследований в Лондоне, ведшего запись, были получены копии всех кассет, кроме одной – самой первой, той, где записано вступительное слово Бродского, опубликованное затем в материалах симпозиума и в недавнем специальном номере “Звезды”². Почему эта пленка не была прислана – неясно: то ли по причине технических неполадок при записи (как было объяснено), то ли из соображений авторского права*. Потеря не была

* По другой версии, кассета пропала уже в Москве. Сейчас все это не просто восстановить, но факт остается фактом: мы ею сегодня не располагаем. Особенно досадно, что так до сих пор не расшифрованным остается “Сохрани мою речь...” – по существу, второй его доклад на

бы такой уж большой – ведь текст доклада напечатан, – но дело в том, что печатный вариант намного короче реально прозвучавшего и во многом с ним не совпадает. Начав читать свой доклад по бумажке, Бродский уже через пять минут отложил листы в сторону (см. фото), и то, что было произнесено, было великолепной более чем часовой импровизацией, восстановить которую без пленки нет возможности. Правда, несколько человек, в том числе корреспондент русской службы ВВС, вели самостоятельные записи, так что можно надеяться, что полный текст все же где-то существует и со временем, может быть, возникнет в поле зрения исследователей.

Интонации Бродского легко представит себе всякий, кто когда-нибудь слышал его речь – благо существует много записей. Частое, очень характерное апеллирующее “*да?*” в качестве отдельного интонационного всплеска; отчетливо, по-староленинградски произносимое [*что*] – как бы законсервированное и вывезенное с собой на Запад, поскольку так явственно, кажется, в самом Петербурге давно уже никто не произносит³; скороговорка “и так далее и так далее и так далее”, проговариваемая в конце или посередине фразы как одно слово и аналогичная математическому знаку открытого перечислительного ряда. Количество повторов этого “и так далее” как бы измеряется важность опущенного или величина выносимого за скобки множества. Это, конечно, далеко не все, и далеко не самое важное. Речь Бродского напевная и напряженная, с характерными интонационными взлетами на несколько растянутых ударных гласных, будто поддерживаемая на лету – не знаю, как это сформулировать точнее; она то усталая (заседания продолжались с перерывами по 8–10 часов в день), то увлеченная, но всегда отчетливо и богато интонируемая; вероятно, благодаря этому богатству она оказывается понятной даже несмотря на постоянную скороговорку, в которой артикуляции отдельных слов иногда почти неразличимы; на спохватки, возвраты, уточнения мысли, особенно когда речь записывается издалека, на пределе возможностей микрофона⁴, или когда Бродского, по его собственному выражению, “несет”, что происходило постоянно, когда он увлекался. Труд, потраченный на расшифровку такой записи, надеюсь, искупается большей, чем обычно, точностью получившейся транскрипции.

От моих случайных ослышек расшифровка не застрахована; откровенно непонятные места оговариваются. Некоторые моменты в записях, легко понятные тем, кто хорошо знаком с поэзией Мандельштама и хотя бы немного – с наукой о нем, могут показаться кому-то “темными”. По мере возможности они комментируются в сносках, но подробный комментарий, увы, невозможен, так как занял бы слишком много места. *Курсивом* в тексте, кроме обычных случаев использования кур-

конференции. За этот труд согласилась взяться сама Д. Майерс, главная хозяйка той незабываемой конференции. Редакция очень рассчитывает на появление такой публикации в следующем выпуске сборника “Сохрани мою речь...” – *Ред.*

сива: ремарки, вставки и т.п., – иногда обозначаются слова, произносившиеся с нажимом; либо, при переборе синонимов или вариантов, окончательная формулировка.

Хочу сказать еще одну вещь, важную для понимания происходившего. Все рассуждения о том, что Бродский якобы холоден и высокомерен, – мягко говоря, неправда и базируются на непонимании, или на комплексе неполноценности рассуждающего, или на том и другом вместе, – что вполне понятно, учитывая масштаб явления. На деле никакого высокомерия нет, все происходит на пределе искренности, даже какой-то детской. Если ему интересно – он весь внимание и может слушать, (буквально) забыв закрыть рот; если неприятно – на лице появляется гримаса отвращения, опять же как у ребенка, когда ему кисло; был момент, когда, говоря о Мандельштаме, он чуть не заплакал. Или можно вспомнить ни на что не похожее “*Мяу!*”, произнесенное как-то вместо прощания, какого-нибудь обычного “до завтра” или “до свидания”, когда мы стояли небольшой группкой во дворе “Senate House” и ему нужно было уходить. Совмещаясь с по-человечески импонирующим образом, со стихами, которые одновременно и скрывают, и предполагают пронзительно человеческую, узнаваемую обнаженность переживания, – это затрагивает какие-то центры души, закрытые для других эмоций.

Стихи Мандельштама Бродский читает точно так же, как и свои собственные, то есть напевно и напряженно, волнами, даже если речь идет об одной строчке или об обрывке строчки⁵.

* * *

1 июля 1991 г. Обсуждение доклада Ж.-К. Лана «Мандельштам и футуризм: элементы “зауми” в поэзии Мандельштама»⁶.

<...>

Ж.-К. Л а н н (тихо). Это ко мне, да? Пожалуйста, если это ко мне...

Д.М. С е г а л (тихо, но напористо; затем – громко и напористо). Одно замечание по поводу вот этого момента о зауми. Все-таки у Мандельштама, как мне кажется, были образцы – ну, не зауми в полном смысле слова, но чего-то, что, возможно, когда-то, какие-то читатели могли отождествить как заумь. Я имею в виду его прозаические тексты. Когда в статье, где упоминается термин “глоссолалия”, Мандельштам цитирует строку из Верлена: “*Ecoutez la chanson grise...*”⁷, – я уверен, что в этом контексте эта строка воспринималась как некоторая... – не как цитата из Верлена на французском языке, а как

нечто другое! Второе. Вспомните, из “Четвертой прозы”, где он говорит “Ich bin arm”, и сразу же вслед за этим идет Армавир, который, конечно, должен привести на память первые строки из Энеиды. Вот это заумь, так сказать, настоящая! И на этом уровне, конечно, у Мандельштама есть что-то такое... Называйте это иначе, не заумь, но это есть!

И. Б р о д с к и й (из противоположного конца зала, довольно тихо). Это отнюдь не заумь, это то, что Мандельштам пишет, – по-моему, Герштейн приводит в своих воспоминаниях о нем... Мандельштам говорит о себе: “Я не понимаю вашего сочинительства – и так далее и так далее, – я пишу с опущенными звеньями”, – то есть он пишет, совершая такие – как бы сказать – прыжки через само собой разумеющееся, да? Это вполне логичные корневые или акустические связи, это вполне логично и логикой постижимо, это не возникающий диковатый, диковинный звукоряд, который не поддается интерпретации, да? Это не акустические конструкции в чистом виде.

С е г а л (по-прежнему громогласно). Я сказал бы иначе! Правильно! Но это не пропущенные звенья, а это вставленные звенья!

Б р о д с к и й. Это опущенные звенья.

С е г а л (волнуясь). Нет, это не выпущенные звенья, это не выпущенные звенья!! Это те звенья, которые, может быть, в русской поэзии потом исчезли бы, и в русском тексте – но они остались, чтобы напоминать о том языке, на что-то, что существует в другом месте!

* * *

1 июля, после докладов З.С. Паперного (“Спор со смертью”), Л. Барнета (“The guests of reality: Mandelstam and Anamnesis”) и Д. Рейфильда (“Stars and Mandelstam: the astronomical and the symbolic”)⁸.

Б р о д с к и й (выглядит несколько усталым, говорит тихо, из зала несколько фраз по-английски, адресуясь к англоязычным докладчикам; затем по-русски ко всей остальной аудитории). <...> Well, I'd like... То есть я хотел бы просто в обратном порядке высказать несколько наблюдений по поводу того, что мы сейчас слышали.

Прежде всего о “Стихах о неизвестном солдате”, и, в частности, об этом стихотворении <нрзб>. Это прежде всего стихотворение... Может быть, оно не совпадает с вашей теорией, потому что то стихотворение лирическое, а это лиро-эпическое – раз. Два-с: что касается любимой теории *поля*, особенно этих строк из “Стихов о неизвестном солдате”: “И за *полем полей поле* новое // Треугольным летит журавлем...” – это стихи... “Стихи о неизвестном солдате” – это прежде всего стихи о военном конфликте, о войне. Действительно, это производит впечатление апокалипсического откровения, предвосхищает... То есть когда в определенном состоянии читатель находится, он может подумать, что предвосхищает – любимую теорию *поля*, и так далее, и так далее, и так далее. Тем не менее следует помнить, что это стихи о военном конфликте. И тут мы должны вспомнить: “*треугольным летит журавлем*” – немедленно вспоминается стихотворение 1917 года “Бессонница, Гомер, Тугие паруса...”, да? – “Как журавлиный клин в чужие рубежи...” ...А?... Вот. И я думаю, что Мандельштам был ко всему этому в высшей степени подготовлен, то есть это стихотворение о миграции культур прежде всего.

Это по поводу *звезд*. Теперь я хотел бы вернуться по поводу анаграммы. (Паперному.) Это просто я хочу дать вам – *предложить* – амуницию дополнительную; хотя это и дикий подход к предмету, но тем не менее. В этом стихотворении, в стихотворении “Дано мне тело – что мне делать с ним?”, я думаю, вы пошли немножко в другую сторону с этой идеей *узора и ОЗУ (?)*. На самом деле “Запечатлеется на нем узор, // Неузнаваемый с недавних пор” – это, в общем, перифраза из “Евгения Онегина”, где она выводит “на затуманенном стекле заветный вензель О и Е”. То есть на самом деле речь идет... А? (Паперный: “О да Е”) – “О да Е”, да; то есть на самом деле речь идет действительно о дыхании, о теплом дыхании на холодное стекло, на котором выводится “О да Е”.

И последнее, что я хотел бы сказать в связи с докладом Паперного, с этой ремаркой относительно *ласточек* в стихотворении к Ольге Ваксель. Дело в том, что ласточки эти – они ведь не простые ласточки, и они же не египетские ласточки, которые вестницы смерти, прибывают с того света, и так далее, и так далее, которые были носителями новостей и всего остального, – это все, видимо,

связано действительно с визуальным образом ласточек, да? На самом деле это ласточки из... – У этих ласточек более близкий нам, северянам, корень, а именно, все это восходит, – поскольку Ольга Ваксель по ошибке у Мандельштама умирает в “стокгольмской постели”; она не в Стокгольме, она где-то в другом месте умерла, но в Скандинавии, – то все это восходит вполне естественно к Гансу Христиану Андерсену, к сказке о зазимовавшей ласточке в пещере... – в *норе* крота. Вот и все.

П а н е р н ы й. Принимается. Я только хочу сказать, что это соображение об андерсеновском повороте мне очень нравится, и оно психологически очень естественно воспринимается, так сказать, в образном поле поэта.

Б р о д с к и й. Более того, могу еще одну вещь добавить, по поводу рассуждения об Орфее и Эвридике. Может быть, это важное соображение, я думаю – то есть культурологически, исторически. Дело в том, что вообще все эти нисхождения во ад, в подземный мир, Гадес и так далее и так далее – они на самом деле источником своим имеют... – источник их довольно прост, на самом деле, как это ни странно. Источником этому всему является – это ведь не моя собственная выдумка, не моя фантазия, это более-менее документально засвидетельствованное явление – эпидемии, свирепствующие в античности, в результате которых очень многие люди оказывались похороненными, что называется, заживо. Особенно это было распространено в Византии в пятом, шестом веке, в седьмом. Существовала огромная литература на эту тему. Дело в том, что умирающий, как правило, от холеры, в результате потери жидкости – он очень часто квалифицировался как покойник, потому что все происходило в соответствии с Гиппократовой теорией о четырех *basic fluids*, да? В результате этого очень часто покойник... человек, в котором еще оставались какие-то *fluids*, то есть какие-то жидкости, не регистрируемые... не *фиксируемые* наблюдателем, оказывался... – то есть его *квалифицировали* как покойника, и таким образом он отправлялся на тот свет. Существует огромная литература, огромное количество – *изрядное* количество, по крайней мере, – сказаний о путешествии человека на тот свет с попыткой доказать, что он был на самом деле жив и что в нем... *он* был несправедливо похоронен. То есть это, как бы сказать, цель путешествия. Побочный про-

дукт такого путешествия – это встреча с теми, кто уже там находится, то есть справедливо или несправедливо. Я думаю, что эта фольклорная традиция существовала и во времена, то есть я *надеюсь*, что она существовала во времена Гомера, и уж во всяком случае она существовала во времена Данте. Я думаю, что гомеровская смерть Эвридики, и так далее, и так далее... – То есть в некотором роде, в некотором роде, я думаю, что если это не производило впечатления, то есть если... Это традиция уже литературная, это уже существуют книги, хотя традиция, разумеется, зафиксированная в книгах, – это фольклорная традиция. Я не хотел бы... Здесь чрезвычайно велик соблазн, я думаю, в любом рассуждении, поскольку речь идет о бесконечности и о смерти, придать всему метафизический оттенок, увидеть в этом разнообразные эсхатологические, если угодно, причины и соображения. Я думаю, что следует помнить и об этом простом аспекте... Опять же – оглядка. Это в свою очередь... Это Лотова оглядка; это вообще повторяющийся сюжет: не оглядывайся! – в мифологии прежде всего...⁹ В греческой мифологии, ну и потом, так скажем, грубо говоря, в этом самом – э... – ну это неважно, там много еще существует параллельных мифологий с этим сюжетом.

* * *

2 июля, после докладов Э. Рейнольдса («The uses of intertextuality in Mandelstam's poem "Za gremuchuiu doblest' griadushchikh vekov"»)¹⁰ и А. Дикмана («Mandelstam's poem "Rakovina"»).

Б р о д с к и й. Это прежде всего... По поводу *раковины* я должен сказать прежде всего то, что стихотворение написано автором двадцатилетним, и я думаю, что к тому времени он еще о таких глубинах, грубо говоря, не искушался особенно. Это стихотворение довольно ведь простое на самом деле. Этот человек – то есть в этом стихотворении – задает себе вопрос, примерно: кто я такой? что я такое? И в конце концов, оно скорее выражает сомнение автора в своем качестве даже не столько как индивидуума, не столько как души, а именно как поэта: существую ли я, имею ли я право? «Раковина без жемчуга».

жин”... (*несколько фраз по-английски, поскольку А. Дикман по-русски не говорит – М.П.*). “Раковина без жемчужин” – это, в общем, опять-таки тот же тенишевский остроумец молодой, который относится к себе, как бы сказать – с иронией с этой, да? Это *ирония* прежде всего. Это просто молодой человек, который ночью на улице это стихотворение написал, – все¹¹.

Что касается вот этих самых замечательных сближений стихотворения “*За гремучую доблесть...*” и стихотворения Бориса Леонидовича¹² – это, я думаю, в общем-то интересно, но не особенно правомерно, и прежде всего потому, что, как совершенно верно сказал Роман Тименчик, это совершенно разные размеры. Дело не только в балладе, а прежде всего именно в мужских окончаниях этого стихотворения. Это, в общем, стихотворение действительно балладное в том смысле, что у него окончания мужские, и даже “английские”, если хотите, и в общем-то настаивающие на твердости духа, если угодно, да? Если бы Мандельштам действительно полемизировал с Пастернаком... То есть если полемика здесь возникает действительно между твердостью и мягкотелостью, именно метрически, – то это был бы такой в этой полемике в некотором роде как бы даже запрещенный прием, да? Потому что я – как бы сказать? – пользуюсь более твердым тоном!¹³ Так что, я думаю, он бы на это не пошел. И что касается географии и изгнания – я уж не знаю... *Сибирь...* Это, вообще, на самом деле, даже не Сибирь – то, о чем говорит Мандельштам. Это уход на восток, но уход на восток, *на север* – да? То есть приближение, если угодно, *к абсолюту*; и это “сосна до сосны достает”... – “Сосна до *звезды* достает” – в общем, конечно же, если хотите, можно услышать лермонтовские интонации, да? В любом случае это уход более к абсолюту, да? У Мандельштама очень интересное одно качество есть – вот такие, в общем, как бы сказать, *клаустрофобические утопии*, да? Вот. Вроде “запихай меня лучше, как шапку, в рукав”, да? То есть высказать это в качестве пожелания – воспринимается, в общем, несколько диковато, да? Потому что “жаркая шуба сибирских степей”... В общем, здесь с географией происходят какие-то довольно странные дела, то есть, просто... И разумеется, речь идет не о революционном выборе, не об отношении к революции, а именно о *тональности*, о тональности речи. То есть от-

ношение к революции и ко всему, что за этим воспоследовало, чрезвычайно ясное: “чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы”, – более энергичным тоном говорить нельзя! Это весьма энергичный язык, и здесь ни о каких “турусах и колесах” речи нет – абсолютно, то есть здесь никакой полемики нет, это просто: “на твой безумный мир, // ответ один – отказ!” Это точно совершенно здесь, да? Выражение отвращения, равное по интенсивности которому есть только у Мандельштама: “Власть отвратительна, как руки брадобрея”. И вообще не надо особенно задумываться об отношении Мандельштама к революции. То есть, разумеется, разумеется – как всякий нормальный человек, особенно уже к тридцатым годам: новая реальность, и, в общем, с ней как-то надо жить, – и, в общем, Мандельштам понимал, что надо совершить уже *в своей душе* “неуклюжий поворот руля, огромный и скрипучий”, и так далее, – и поэт пытается совершить, – но у Мандельштама всякий раз, с чего бы он ни начинал попытки приспособиться к миру, все кончается, именно благодаря этим средствам, которыми он пользуется, средствам поэтической гармонии, – грубо говоря, все кончается полным поворотом на 180° и, в общем, сводится как бы сказать к саморазрушительному движению, да? Короче говоря, это, в общем-то, понятно; я бы не хотел... Я думаю, что это не очень правомерное сближение¹⁴.

Что касается некрасовских этих самых и надсоновских интонаций, то, в общем, э-э... и что касается того вывода, который, как вы говорили, совершил Некрасов, – то, в общем, об этом не надо особенно так гадать. Потому что эта дактилическая, плаксивая интонация, так скажем, – она, в общем-то, предполагает примирение с миром. То есть ламентация – вообще есть всегда заведомое примирение, и так далее, и тому подобное – то есть *мне* так кажется. Все дактилические эти окончания – они очень сильно повредили русской поэзии, и в конце концов мужские окончания, которые возникают у акмеистов – у Гумилева и у Мандельштама, – это именно реакция на ламентативную природу русской гражданской поэзии XIX века.

Еще там – насчет “Века-волкодава” и так далее, и так далее – это стихотворение – я не помню, какого, по-моему, 31-го года, да? – а “Век мой, зверь мой, кто сумеет...” – 22-го года.

Рейнольдс. Это, вообще-то, часть цикла целого...
Бродский. Ну – *вообще-то!* – все часть целого!
(Смех.)

* * *

К обсуждению стихотворения “Сумерки свободы”.

Бродский. Это все замечательно и чрезвычайно интересно. Особенно очень интересно и довольно грустно, в общих чертах, звучит то, что у человека, то есть у истории, у нации – как свидетельствует то замечание, то есть то сообщение, которое было сделано, – в конечном счете не так уж богат выбор. Но дело не в этом, а дело в том, что вообще к стихотворению это имеет, как ни странно – то есть никак не странно, – то, о чем здесь шла речь последние 10–15 минут, – отношение довольно отдаленное, по-моему. Вся эта тематика – с патриархом и всеми этими делами¹⁵ – кончается ко второй строфе... к середине первой строфы... даже и в первой строфе уже этого нет, потому что: “*В кипящие ночные воды // Опушен – этот самый – темный лес...*”

(голос: Грузный!)

Бродский... *грузный лес тенет*” – это уже не об этих делах речь, да? И самое замечательное в стихотворении происходит именно... (к **возражающим**) сейчас, сейчас, сейчас; сейчас мы все выясним! – самое замечательное в стихотворении происходит в третьей строфе, в начале третьей строфы: “Мы в легионы боевые // Связали ласточек, и вот...” – это вообще, по-моему, грандиозный образ, один из самых грандиозных у Мандельштама. И видимо, он восходит... Ну, в лучшем случае, в контексте этой дискуссии его можно привязать к каким-то библейским ассоциациям, но я думаю, что нет, это неуместно; потому что: “в легионы боевые” – мы имеем дело с делами очень греко-римскими по меньшей мере, я даже не знаю, с какими. То есть что-то мне приходит в голову гомеровское, но это моя голова, и я несколько... я не хочу на нее в данный момент опираться, да? Самое замечательное, что речь идет о движении судна, и это стихи в высшей степени, видимо, на каком-то безотчетном... то есть, я не привык употреблять этот термин, – на *подсознательно-бессознательном* некотором уровне.

Стихи весьма петербургские, естественно, потому что речь идет о корабле, и этот корабль... В общем, эти самые “тенета” превращаются впоследствии в *сети* – это сеть, которая ласточками связана. *Тенета* – это та *сеть*, которая застит солнце, да? То есть это – как бы сказать? – как мне представляется, взгляд... Простите, может быть, я слишком долго об этом обо всем говорю, да? Но, по-моему, это самое главное в стихотворении – превращение этих самых *тенет* в эти *сети*, сквозь которые ты смотришь на солнце, да? То есть я думаю, что это как бы взгляд на солнце сквозь ванты, сквозь снасти, да? – вот *этот* образ, то есть это развитие идет. Более того... когда кончается строфа... Чрезвычайно характерная для Мандельштама особенность – это смешивать в одном стихотворении совершенно разнообразные культурные планы, грубо говоря... Где-то есть более точная форма определения, но я на нее не способен в данный момент – по существу та же самая голова... То есть в одном стихотворении мы часто сталкиваемся с античностью, с иудаизмом, с христианством – с чем угодно, и кончается стихотворение... – то есть речь идет о “летейской стуже”, да? И вообще с этим довольно разобраться сложно, потому что корабль движется, “делит океан, как плугом”, да?

Как плугом, океан деля,
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.

То есть я вообще не понимаю... То есть теоретически – теоретически, это уже полное... полное *покидание* православной тематики имеет место, да? полное “отплытие от...”, да?

Так что... (*переключаясь на доклад*) – ну, уже хотя бы это... то есть... Ну, это интересно, интересно чисто исторически, исторический материал, контекст – но никогда не надо им злоупотреблять, и никогда не надо пользоваться... История... вы знаете... Ну вот, я сейчас скажу, это уже я по случаю... (*со смешком*). Меня уже в некотором роде несет – дело в том, что... Я не хочу говорить про там, скажем, “загадочные механизмы творческого процесса” – но, в принципе, литература не нуждается особенно в истории, если угодно, да? Я думаю, что Мандельштам... – то есть, ну, грубо говоря, – Мандельштам был бы великим поэтом независимо от того, что бы ни про-

изошло в семнадцатом году – то или это, да? То есть по потенциалу этот индивидуум был, ну... просто чрезвычайно одаренное существо, грубо говоря, да? Я не думаю, что стоит ставить в зависимость стихотворение... *произведение искусства* от исторической обстановки, и вот почему: потому что если бы действительно между историческим опытом и поэтической реальностью произведения искусства существовала такая прямая зависимость, то мы бы на сегодняшний день имели у себя на руках огромное количество искусства, да? Во-вторых, как мы знаем, можно пережить бомбежку Хиросимы или просидеть двадцать лет в лагере – и ничего не произойдет, да? – ну ничего буквально! Или одна ночь, проведенная неизвестно... вернее, *мы все знаем*, с кем, да? – кончается написанием “Я помню чудное мгновенье...” – *Это* что такое, так? То есть я не думаю, что вот эту зависимость... что на этой зависимости так надо настаивать при наших раскопках.

* * *

После доклада Б.М. Гаспарова, прочитанного, ввиду отсутствия последнего, Р.Д. Тименчиком (“Some notes on the poetic style of Mandelstam’s later poetry (1934–1938)”). Доклад был выстроен целиком вокруг истории слова “извиняюсь” и “языка трамвайных перебранок” из стихотворения “Еще далеко мне до патриарха...”.

Б р о д с к и й. Это все замечательно, что мы здесь слышали, особенно что касается доклада калифорнийского Гаспарова. Весь парадокс – для меня по крайней мере – заключается в том, что Мандельштам, по крайней мере в процитированном стихотворении, не дает повода для такого рассуждения, потому что в тексте употребляется не “извиняюсь”, а “Я извиняюсь” – вполне нормальная грамматическая форма. То есть это становится вульгарным выражением, знаком эпохи, если угодно, и так далее, и так далее, только тогда, когда опускается местоимение. В случае же неопущенного местоимения это нормальное грамматическое выражение: “я извиняюсь”, – и ничего в этом ужасного нет. И тут даже никакой особенной игры на просторечии, по-моему, в тексте нет. Это первое. Второе, что бы мне хотелось сказать, поскольку

речь идет об этом стихотворении, – то есть я ничего не хочу сказать об этой дискуссии, это чрезвычайно интересная, чрезвычайно замечательная дискуссия, чрезвычайно замечательный по существу доклад. Просто он потерял из виду то, о чем идет... по крайней мере ту строку, от которой отталкивается.

Я хотел бы заметить попутно, поскольку речь зашла о стихотворениях 1931 года – о “языке трамвайных перебранок” и о стихотворении “Сегодня можно снять декалькомани...”, я просто хотел... Это мое личное ощущение: мне почему-то все время представляется, что они разбиваются неправомерно. По-моему, это одно стихотворение, состоящее в лучшем случае из двух частей. Более того, я даже думаю, что все это стихотворение... что все это на самом деле довольно длинная *поэма*, если угодно, написанная практически... *почти* тем же самым размером, и первая ее часть – это не “на языке трамвайных перебранок”, а “Роскошно буддийское лето...”, вот там это все начинается. Вот. Это стихи совершенно замечательные, то есть... (*отвечая кому-то*) – да. По-моему – да. ...По-моему, стихи совершенно замечательные, автоматические до крайности, там совершенно феноменальное дыхание у поэта все время, это [ha:] слышно. И кроме того, что касается “*буддийской* Москвы”, вы знаете... Я не знаю... То есть это, разумеется, восходит к массе вещей, безусловно, но одним из возможных соображений для выяснения этого самого эпитета мне представляется тот факт, что действительно Москва для петербуржца, видимо, – каким, собственно, Мандельштам был – до известной степени представляется городом, состоящим из сооружений, которые при определенном отстранении, то есть при несколько “затуманенном”, если угодно, взгляде, да? – со всеми своими кремлями, со всеми башнями – она просто представляется скоплением кумирен, не говоря о том, что в контексте эпохи, в контексте эпохи это было более чем оправдано – [Москва сама] становится все большей и большей кумирней. Ну и так далее.

* * *

3 июля, после доклада Г. Гиффорда (“Mandelstam and Soviet Reality”)¹⁶.

Б р о д с к и й. Следует сказать одну вещь, просто соображение для той части аудитории, которая не говорит по-английски, потому что в докладе Гиффорда содержалось... Его общая концепция довольно замечательная, я думаю, что соотечественникам как бы следует... То есть я, по крайней мере, с ней не сталкивался, а если сталкивался, то только в эмоциональном выражении, а не в ее артикуляции. А именно, все сводится к такому простому тезису: этот поэт, если проследить все его развитие, да? – в начальный период – “Камень”, “Камень” и “Tristia”, если угодно, – занимается, в общем, что называется, действительно *культурой*, то есть *прошлым* страны. С “Тристий”, “Стихотворений” и последующий период, ну я не знаю, наверное, я не очень точно говорю – в *срединный* период – он занимается *настоящим*, особенно это касается 1931 года; и стихи после 1931 года дальше – он занимается будущим, то есть будущим нации, будущим культуры, тем, чем нация сама, в общем, заниматься перестала.

* * *

4 июля, в дискуссии после докладов Г.А. Левинтона (“Мандельштам и Гумилев. Предварительные заметки”), Т.В. Цивьян (“Мандельштам и Ахматова: к теме диалога”) и А.С. Кушнера (“Мандельштам и Ходасевич”)¹⁷.

К у ш н е р (отвечает С.С. Аверинцеву, горячится). Разрешите сразу ответить? Я хочу сказать насчет религиозной доктрины у Ходасевича; во-первых, видите ли, вы сами говорите “доктрина”! Мое глубокое убеждение, что любая доктрина губит поэзию, религиозная, может быть, прежде всего! Потому что поэзия по определению религиозна, только не так! Понимаете, поэзия – это и есть молитва благодарения, сплош-на-я! Каждый предмет, взятый в руку, оживает в руках поэта, когда на него падает луч Божий, – вот это поэзия! А если вы думаете,



что доктрина Ходасевича могла что-то ему дать – то я убежден, что нет!!

А в е р и н ц е в (рассерженно). Господи, я же сказал “граница”!

К у ш н е р. И мне кажется, что, наоборот, именно в этом и причина его м... м... оскудения. <...>

Б р о д с к и й. Я хочу сказать три вещи. Первая – что касается доклада Левинтона об отношениях Гумилева и Мандельштама. Вы знаете, что меня всегда огорчает и что на этой конференции время от времени происходит? Это, видимо, симптоматично. Огорчительно то, что очень часто человек начинает со стихов и потом он уходит все глубже в ... ну, грубо говоря, дебри. Для меня дебри. То есть не то что они дебри, они довольно интересные дебри, то есть это вообще, лес... И говоря об этом стихотворении, о “Персефоне”¹⁸... То есть, когда занимаешься исследованиями, то, по-моему, прежде всего надо знать, что ищешь, да? И если мы пытаемся раскрыть смысл стихотворения о Персефоне – для меня так по крайней мере, – по логике этого стихотворения следовало бы... То есть, Бога ради, не воспринимайте это как упрек, да? Этого начисто нет, может быть, в лучшем случае – в *худшем*? – в *лучшем* – это неудовлетворение, так? И по крайней мере следовало бы предложить сначала какую-то гипотезу: о чем это стихотворение? Помимо всего прочего, оно не единственное. Там три стихотворения подряд с Персефой, да? И подносить это самое замечательное увеличительное стекло к строке насчет этих самых “мертвых пчел”, да? – имеет смысл только тогда, когда у нас есть две или три гипотезы, вытекающие из текста самого Мандельштама насчет этих *пчел* – кто эти *пчелы*, да? Он там, надо сказать, довольно внятно объясняет, что это за пчелы, да?¹⁹ Это лирическое стихотворение, начать с этого; то есть просто стихотворение, грубо говоря, *о любви*, и я уже просто не хочу его здесь анализировать. По крайней мере смысл *ладоней*, о которых идет речь, – это просто та самая *видимость* в стихотворении, если хотите, да? и, грубо говоря, то, “о чем это”, – ну и так далее.

Амунция дополнительная для вашего тезиса о Гумилеве насчет *соловьев*, да? По-моему, замечательная есть деталь: когда Блок – я уже не помню этих обстоятельств – подал заявление в действующую армию, Гумилев, по-моему в письме Ахматовой, говорит: “Александр



собирается в действующую армию, его надо всеми силами постараться отговорить, потому что Блок в действующей армии – это все равно что жарить соловьев”. Но только этот пример – о соловьях или не о соловьях, да? (Смех.)

И теперь, что касается замечательного высказывания Аверинцева по поводу *схолий* и попытки решить эту проблему многоплановости и так далее, и так далее. Хотя он абсолютно прав, что более непохожих как поэтов и прозаиков, чем Ахматова и Мандельштам, представить себе трудно, но дело именно в непохожести *технических средств*.

Вы знаете, говоря о средневековой схолии, что мне было всегда в ней замечательно, то есть как я ее себе представляю? Это действительно, что называется по-английски, “*writing around*”, то есть буквально: на странице – действительно на странице – слева стихотворение, четыре строфы, кусочек из Данте, две терцины, – и вокруг этого, то есть не кругами, а просто *вокруг*, типографически... Ну, это, видимо, объяснялось еще тем, что просто бумаги не так много было. (Смех.) У нас чуть больше бумаги, у нас больше амбиций и все остальное... ну, в общем... И когда ты переворачивал страницу, ты как бы терял из виду объект исследования, да? – И это то, по-моему, чем – по-моему, по-моему – это замечательное дело, эта профессия, исследование текста, – все-таки грешит.

И последнее, что я хотел сказать: солидаризируясь с Александром Семеновичем [Кушнером], с его высказыванием насчет близости доктрины... то есть о близости *религии* и лирического стихотворения. Дело в том, что... был один замечательный поэт такой Эдвард Рескин? – (имя по-английски, в записи неразборчиво. – М.П.), который сказал в записных книжках, – я думаю, это очевидная истина, жалко, что я не могу припомнить по-английски, но это неважно, по-русски это звучит следующим образом: “Всякое стихотворение приводит в движение механизм молитвы”. И когда он этого не делает, то есть когда он замолкает, в общем, видимо, происходит некоторый, как бы сказать, *метафизический спад*; но это ни в коем случае не конец. И поэтому не следует думать... не следует говорить о духовной гибели или духовном обнищании, измельчании индивидуума, который либо не все время ходит в церковь и бьет лбом о паперть, либо не



все время пишет стихи. Это разные такие вещи, то есть еще одно обстоятельство... В конце концов человеку, который более или менее... Ну, это уже спорная такая вещь, то есть... Причем это всегда маленько пугает, используешь любой поэтический размер, да?

А что касается сближения Хлебникова... то есть этого самого – *Ходасевича* с Мандельштамом, стихотворения про квартиру и так далее²⁰, – ну знаете, Сашенька... Вы же знаете, что когда пишешь трехстопником, ты на всех похож, да?

Г о л о с. Нет, не на всех!

Б р о д с к и й. Ну, почти на всех.

К у ш н е р. На Пушкина – нет!

Б р о д с к и й. На Пушкина, может, нет. Это всегда... Опасность некая всегда присутствует, и чем поэт от поэта отличается – это тем, как он *эксплуатирует* метрическое клише, а не тем, как от него впадает в зависимость.

* * *

Дискуссия об образе “милрой тени” в стихотворении “Концерт на вокзале”.

Гул. В разных концах зала одновременно говорят несколько голосов.

Л е в и н т о н. ...Так. А кто такая милая тень? Ну, как-то традиционно так...

Л е в и н. Традиционно так, да, об этом говорили...

Л е в и н т о н. Действительно традиционный комментарий. По-моему, Надежда Яковлевна об этом писала... Не знаю, как-то...

К у ш н е р (тихо, но с вызовом). Об этом никто не писал!

Г о л о с. Вот это да!

С т р у в е. ...Там все-таки цитата – там цитата из Блока, непосредственно...

К у ш н е р (громко, горячо и с вызовом). Это не традиционно, об этом никто не писал!!

Л е в и н т о н (к Струве). ...одна из! Там рядом полно цитат из Лермонтова, из Бурлюка, как мы знаем, так что это все... это как раз...

Г о л о с. Мама!

Д р у г о й г о л о с (внятно и раздельно). Ма-ма!



Б р о д с к и й (из другого конца зала, подводя итог; гул быстро смолкает). Кто является предметом стихотворения “Концерт на вокзале”? Есть мнение, вот Левинтон утверждает, что это традиционная интерпретация, это *мать* поэта. Кушнер и я считаем, что это Анненский, а Струве считает, что это Гумилев...

Г о л о с а. И Блок! И Блок! Да, и Блок.

Д р у г о й г о л о с. Да, кандидатов многовато! Но там одна тень! Там речь идет об одной тени, не о нескольких. Тень вообще естественней... Да нет, я думаю, это в общем... что это стихотворение о... (*со смешком.*) Я считаю, что это стихотворение об Анненском!

К у ш н е р. Правильно!
(*Аплодисменты.*)

* * *

4 июля, среда, после обеда. К обсуждению мандельштамовской “Оды” Сталину. После докладов М.Ю. Лотмана (“Земная ось у Мандельштама”), М.Л. Гаспарова (“Метрический контекст сталинской оды Мандельштама”) и И.З. Сермана (“Осип Мандельштам и русская поэзия конца двадцатых — начала тридцатых годов”)²¹.

Б р о д с к и й. Я хочу вернуться к “Оде” — и в том смысле, в котором о ней говорил Михаил Лотман, и в том, в котором говорил московский Гаспаров.

По-моему, то, что сказал Лотман, по крайней мере, одна из посылок его доклада чрезвычайно существенна для понимания очень многого и, в частности, этой “Оды”. А именно: о существовавшем в русском поэтическом сознании определенном вакууме, который Сталин заполнил своим появлением. Это чрезвычайно важное соображение, которое нельзя упустить. Этот вакуум еще тем более увеличился в обществе, которое объявило себя абсолютно атеистическим обществом, не правда ли? Следует об этом подумать. Но я не думаю, что своим появлением “Ода” обязана в первую очередь этому факту этого вакуума; этот вакуум, заметьте себе, заполняли все поразному. Некоторые заполняли его в позитивном ключе, некоторые в отрицательном ключе, и так далее, и так далее — но вакуум действительно существовал. И в этом смысле чрезвычайно интересно... То есть, я думаю, мо-



тивы... то есть не мотивы, а то, *как* эта “Ода” написана. Это действительно, я совершенно согласен с Александром Семеновичем [Кушнером], произведение грандиозное. Это грандиозное произведение, это произведение в некотором роде – технически говоря, то есть с той точки зрения, чем стала русская поэзия в последующие, скажем, полвека, и так далее, и так далее, – то есть, говоря о том состоянии, в котором она находится, – это произведение еще, чисто технически, пророческое. Это произведение абсолютно дискурсивное, произведение с определенной целью, с определенными *задачами* и систематическим *решением* этих задач. Кушнер абсолютно прав – не следует смешивать это²².

Я думаю, что Михаил Леонович [Гаспаров] строил... прочел нам этот доклад... То есть его сообщение, оно – как бы сказать? – основано на идее Надежды Яковлевны о стихотворениях, которые играли роль в циклах, как бы сказать – “пчеломатки”, да? Ну, с “пчеломатками” надо быть все-таки чрезвычайно осторожными, потому что непонятно вообще... То есть улей зависит... То есть я не знаю, мне не хочется развивать эту метафору, потому что можно уйти далеко в сторону, и так далее, и так далее. Оставим эту метафору. Во-первых, во-первых, Михаил Леонович, у меня есть одно соображение. Вы сказали, что этот самый наш любимый пятистопник, как бы сказать – синонимичен – то есть в известной степени это все правда – синонимичен гражданской поэзии, и вы начали этот самый “развод” с двух стихотворений: “Еще...” – как это?.. – “еще... еще... еще?..”

(Голос. “Еще не умер...”)

Г а с п а р о в. “Еще не умер ты...”)

“Еще не умер я...”, да, – это стихотворение восходит, как и вообще всякая мандельштамовская, если понадобится, интонация “еще...”

(Негромкий – “уже понявший” – возглас: “Естественно!”)

...”Еще далёко мне до патриарха...”, – она, конечно же, восходит к Баратынскому: “Еще, как патриарх, не древен я; моей // Главы не умастил таинственный елей...” и т. д. – и это стихотворение очень гражданственно по своей сути. Но этот размер чрезвычайно емкий, и буквально его ассоциировать... то есть его буквальная ассоциация с гражданской поэзией чрезвычайно... – то



есть не то, что *чрезвычайно*, но в данном контексте, в контексте разбора “Оды”, может быть, *несколько* опасна – в том смысле, что это исключает память о том, что этот же размер также чрезвычайно приспособлен для разнообразного, как бы сказать, лирического описания, просто описания природы, если хотите, да? Вот. – И в “Оде” *идет* описание природы!

Я хочу... И более того, – сейчас, я думаю, я скажу нечто, в общем, неприятное. Дело в том, что нельзя, на мой взгляд, даже вот в таком сообщении отговариваться тем, что “мы имеем дело с литературной наукой, мы не высказываем *мнений*, а ограничимся только одним, или двумя, или тремя *наблюдениями*”²³. Дело в том, что, говоря о литературной науке, и так далее, и так далее, – следует помнить о том, что объективность вовсе не значит безразличие. Объективность также не значит противоположность субъективности, объективность есть сумма субъективностей, и с этого надо начинать. Я думаю, что... вообще... что вообще довольно так тяжел всякий разговор об этой “Оде” именно потому, что мы, как бы сказать? – не собрали этих субъективностей вместе, да? Ну так вот... Ну... я говорю, что... Я не хочу занимать время, потому что я могу сейчас включиться в эти вот... и начнется окончательное... (*Пауза.*)

По поводу “подковы”: “Как подкову, кует за указом указ...” Вы знаете, мне несколько раз приходило при чтении этой строки... при *перечитывании* этой строки – впечатление, что, может, в общем, Мандельштам, когда говорит о *подкове*, имеет в виду такую чисто зрительную, графическую конфигурацию “одной шестой”, то есть СССР; она действительно выглядит, как подкова; и в других стихотворениях он упоминает океан, и так далее, и так далее.

(Голос. “Воздушно-океанская...”)

Ну да, “воздушно-океанская подкова”²⁴, если хотите, и так далее, – “*ледовито-океанская*” подкова... Ну, там можно еще много вернуть.

Л о т м а н. А можно, я реплику по другому вопросу? Тут очень интересно сомкнулись два спора: о “я” у Мандельштама и о субъективности в литературоведении. Я считаю, что это очень важный и принципиальный вопрос, и я хочу поддержать Вячеслава Всеволодовича, который сказал об этой важности, в том числе и для наук



нефилологических. Более того, это целые пласты европейского мышления. Когда Лютер сказал: “Я здесь стою”, – он совершил что-то нечестное по отношению к предыдущей богословской традиции, потому что так на эти темы не говорили, тут тройной дейксис: “я”, “здесь” и “стою” – *сейчас* стою. О вечности так не говорят! Отсюда... От этих слов Лютера можно провести пунктир до “принципа дополнительности” Бора, вводящего субъективность... То есть... Ну а... Теперь о нашей литературоведческой науке. Я считаю, что это разные вещи: учитывать субъективность и вводить ее контрабандно, в качестве оценки. И когда Александр Семенович [Кушнер] начал говорить о том, что нужно исключить оценки, а кончил тем, что “друзья мои, – стихи сомнительные!” и долго объяснял, почему это стихи, в общем-то, неважные, – мне кажется, тут что-то не в порядке. И объективность есть сумма субъективностей только тогда, когда мы эту субъективность как субъективность и описываем, а не тогда, когда мы эту субъективность пытаемся выдать за объективность. Для меня это вопрос профессиональной этики: когда я разбираю стихотворение, я не смею думать о том, хорошее оно или плохое. Поскольку мы, грубо говоря, влезает человеку в душу, то мы не имеем права его оценивать. Так врач, когда оперирует, он не имеет права думать, хороший это человек или плохой, он только делает свою работу, – так же и мы должны заниматься...

Б р о д с к и й. Это, наверное, не совсем точная аналогия, действительно; потому что это было бы справедливо в случае – то есть, *возможно*, – в случае с патологоанатомом и мертвым телом, да? Но я думаю о том, что у врача есть какое-то отношение к тому, кого он режет. Кроме того, врач – еще заметим одну вещь: врач лечит, критик – нет. (*Смех*).

Л о т м а н. Аналогия с патологоанатомом, скажем так...

<...>

С е г а л. У меня вопрос к “одоведам”: Бирнамский лес, который, как оказалось, движется в “Оде”... Кто Сталин – Макбет или Банко? Я как-то не очень... Идея была такая здесь, что вот – гигантские стихи, гениальные стихи, – но как-то вот предлагалось понять их, что они... Я не понимаю, куда здесь Бирнамский лес идет?..

Бродский. Это можно объяснить, и я с удовольствием на пять минут взялся бы за это дело, — но, может быть, этого не надо делать?

Голоса. Пожалуйста, пожалуйста, просим!

Бродский. И я хотел бы спросить... Прежде, чем я возьмусь за это, я хотел бы спросить Михаила Леоновича [Гаспарова] об одной вещи. Михаил Леонович, в “Оде” и стихотворении “Как дерево и медь...” есть два места. Взгляните на последнюю строчку “Дерево и медь...” — можете ли вы ее прочесть без сбоя: “Я обедеу еще глазами площадь всей // Этой площади с ее знамен лесами”?

Гаспаров. Я уверен, что здесь порча текста.

Бродский. Ага. Хорошо. Тогда смотрим “Оду”. Что вы скажете по поводу “чуда народного”?

Гаспаров. Сознательный перебой, ритмический курсив. (Последнее слово почти не слышно.)

Бродский. Когда вы говорите “сознательный перебой ритмический” — тут вам придется выйти из своих рамок и объяснить: почему он *сознательный*, чем он продиктован?

Гаспаров. “Ритмический курсив”, я сказал. Восклицание из двух слов, повышение голоса.

Бродский. Ага. Вы чувствуете, вы ощущаете в этом “чуде народном” элемент фольклора: “чудо народное!”? Вот это, да? Ага?

Гаспаров. Нет, не ощущаю, но если кто-то ощущает — рад.

Бродский. Хорошо. Теперь об этом самом стихотворении. Это всего два, или три, или пять, а может быть, десять построчных наблюдений.

Прежде всего, я считаю, что вообще было бы справедливо эту оду назвать “Угольной одой”. И то, что сказал о наброске, по-моему, Лотман, — я не помню, кто это сказал, — нет, Михаил Леонович, — о том, что карандашные эти *наброски* Ленина и так далее, и так далее... Обратите внимание хотя бы на первую строфу:

Когда б я уголь взял для высшей похвалы...

То есть моментальная поляризация в строке возникает: уголь, низкий материал — “*высшая похвала*”, — то есть не совпадающий с *высшей* похвалой, вот это. Тут сразу же возникает двойственность, и Мандельштам в

этой “Оде” от начала и до конца минимум двойственен. То есть, разумеется, речь идет не о двойственности его чувств, это было бы слишком банально, а о двойственности техник, которыми он здесь пользуется. Почему я сказал раньше, что стихотворение, технически говоря, пророческое? Прежде всего потому, что, на мой взгляд, на мой взгляд, – это стихотворение отмечено э... э... *сверхприсутствием сознания*. То есть это стихотворение написано не “с голоса”, то есть, как он говорил: “Я один работаю с голоса, а вокруг вся остальная сволочь пишет”, да? Вот. Это стихотворение действительно сознательно *написано, составлено* во многих отношениях. Отношение его к Сталину... То есть Мандельштам всегда почти, за что бы он ни брался, – результат оказывался не тем, чем, он предполагал, он будет с самого начала. Это вообще правда обо всей поэзии, если угодно. То есть это то, что ее и движет, в известной степени. Если бы мы знали то, чем это²⁵ кончается, мы бы в большинстве случаев за перо бы и не брались, да? Но то, чем это кончается, то, чем эта “Ода” оборачивается, – результат в высшей степени пугающий. Это действительно постклассицистическое стихотворение. То есть оно пользуется всей техникой классицизма, которой требует жанр, которой требует предмет, да? – но ставит все в этом самом классицизме в некотором роде с ног на голову. Меня в этом стихотворении две или три вещи просто поражают, а именно... То есть, разумеется, можно проследить этимологию, возвести эти строки: “уходят в даль людских голов бугры” к *морю*, это совершенно замечательно, что сделал Гаспаров, – но я чувствую и совершенно другую эстетику, родченковскую: сплошные ракурсы все время идут, да? (*К кому-то изобразившему эти “ракурсы”*.) Совершенно верно. “Он свесился в людских голов бугры...” – это в полпрофиля, это нос виден, да? – и так далее, и так далее, и так далее, да?

Когда б я уголь взял для высшей похвалы,
Для радости рисунка непреложной...

Вы посмотрите на эту строчку: “Для радости рисунка непреложной...” Какие здесь чувства... какие здесь чувства обуревают автора разнообразные! “Для радости рисунка!..” Зачем квалифицировать радость как “непре-

ложную”, да? Понятно, что мы что-то делаем сознательно, — мы, видимо, льстим, да? Мы, видимо, льстим и пытаемся добиться какого-то определенного позитивного эффекта, но, пытаясь добиться этого позитивного эффекта, мы не очень уверены в том, что мы его добьемся, да? Дальше.

Я б воздух расчертил на хитрые углы
И осторожно, и тревожно...

Что ни говори о технике рисования, но когда мы говорим о “хитрых углах”... То есть, мы, конечно, можем иметь в виду геометрию углов²⁶, и так далее, и так далее, и так далее, но “хитрые” — это “хитрые” все равно — и слово несколько предосудительное в данном контексте. Вообще, забегая вперед, я хотел бы сказать, что, если бы я был Иосифом Виссарионовичем, я бы за эти стихи Мандельштама сожрал лично. (*Смех.*) Потому что это куда страшнее, это стихи куда более страшные, нежели, скажем, эпиграмма²⁷. Потому что, в конце концов, — хотя, конечно, эпиграмма — это эпиграмма и так далее, и так далее — она, я бы даже заметил, не очень удачная, потому что не очень-то даже и запоминается. Мы это запомнили, потому что мы этим более-менее занимались, а так ее запомнить с ходу как эпиграмму, эту самую “остроглазую, — я не знаю, — летунью” и так далее, и так далее, — в общем, не так уж просто.

Теперь. Я еще забегу вперед. Дело в том, что в этом стихотворении и сама методика — убийственная для предмета. То есть постоянно, постоянно... Мандельштам все время бьет в одну цель, и в этом смысле он оказывается как бы для предмета, для объекта стихотворения *палачом* до известной степени. То есть здесь происходит как бы некоторый “расстрел в упор”, да? Тут еще нужно помнить о тождестве имен, ну, это простая самая мысль. И когда он говорит “близнеца // Какого не скажу”, это... Я еще от себя добавлю, что эта *фраза*, этот *оборот*: “какого — не скажу” — *эта фраза была в обороте*²⁸ тогда, предполагаю, у ахматовского или мандельштамовского круга: “Он ей назначил five o'clock не скажу где, не скажу когда и не скажу с кем”, — вот еще эти дела, да? То есть это все идет из *личного* из этого, *филологического*, если угодно, то есть *лично-интимного*²⁹ набора, да? Пред-

ставьте себе происходящее. Я вчера вот говорил мельком Вячеславу Всеволодовичу Иванову, что когда человек читает стихотворение, он в тот момент *становится* этим стихотворением, он становится в этот момент его *автором* – вот почему нам, в конечном счете, автор и интересен, не правда ли? – почему мы его начинаем вычислять. Я думаю, что адресат прочел это стихотворение. Представьте себе, что адресат читает это стихотворение, и на минуту Иосиф Виссарионович Сталин становится Осипом Эмилевичем Мандельштамом, и он думает: “Как...”³⁰ – и это должно его тотчас взбесить, потому что тогда он себя этими глазами видит! Я не предполагаю за Сталиным высокого художественного чутья, но когда вам стихотворение адресовано, вы его воспринимаете куда более внимательно, нежели, скажем, если бы это было просто стихотворение о ваших посадках леса, да? (*Смех.*) И поэтому я думаю, что отношение Сталина к этому стихотворению не могло не быть личным, то есть не могло не быть личной реакции. И если личная реакция – то каким же я себя вижу, да? Когда “он свесился в людских головах бугры” – то, с одной стороны, это замечательный кинематографический, фотографический – то есть какой угодно, зрительный, – прием; а с другой стороны – мы видим себя сбоку, да? И если мы – Сталин, да? – то мы сами себе не очень нравимся, потому что мы знаем, как мы выглядим сбоку, в профиль – это не как на фотографии, да? а как мы себя видим в зеркале, или я уже не знаю, когда бреемся. Хотя, когда есть усы, и мы не совсем убре...³¹ Ну, это не важно, да?

Кушнер. Смотря какой профиль.

Бродский: Смотря какой профиль, ну да, – “смотря какой барин”! да? (*Смех.*) Дальше.

Я б воздух расчертил на хитрые углы
И осторожно, и тревожно.

В статье Кациса есть совершенно замечательное наблюдение, когда он возводит всю эту вещь, то есть все эти самые *брови*, *глаза* вот к этим стихотворениям, то есть к различным авторам, где *брови* становятся *орлом*, как бы сказать – сами по себе, где они раздвигают пейзаж и так далее, и так далее, и так далее. Но я абсолютно не уверен в том, что это раздвижение пейзажа и – как бы

сказать? – такое *реяние над пейзажем горного орла*, да? – так уж самому бы горному орлу и понравилось, да? Потому что это скорее пугающий образ, чем льстящий, начать с этого, да? “Я б воздух расчертил на хитрые углы // И осторожно, и тревожно”. Во-первых, “хитрые”, что неприятно, а во-вторых, “и осторожно, и тревожно”. Так не льстят! Начать с этого, да? Дальше.

Чтоб настоящее в чертах отозвалось,
В искусстве с дерзостью гранича,
Я б рассказал о том, кто сдвинул мира ось,
Ста сорока народов чтя обычай.

Для Мандельштама “сдвинул мира ось” могло бы быть похвалой, но я не думаю, что для всякого нормального человека – или более, даже для ненормального человека – это лесть. (*Смех.*) “Сдвинул мира ось” – я уже не очень уверен, что это так уж и хорошо, да? Дальше.

...Ста сорока народов чтя обычай.
Я б поднял брови малый уголок
И поднял вновь и разрешил иначе:
Знать, Прометей раздул свой уголек, –
Гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу!

Давайте посмотрим на эту последнюю строфу, и больше, может быть, не надо ничего делать. Почему мы должны на нее взглянуть? Да потому что мы все время имеем дело с приблизительностью хода, с приблизительностью движения, это что называется по-английски “give ‘n’take”, или, как говорил Владимир Ильич, “шаг вперед, два назад”. (*Смех.*)

Я б поднял брови малый уголок...

вы знаете – он начинает писать... рисовать портрет великого человека, и так далее, и так далее – но что происходит здесь? “Я б поднял брови малый уголок...” – и в этом, в буквальности этой строки... То есть получается, что “брови малый уголок” – “малый” работает против воли (“работает” – это жуткий англицизм, который вкрапывается, вторгается в нашу речь, и так далее).

И поднял вновь, и разрешил иначе,

– ну, тут понятно, что речь идет о рисовании, да? Но

“поднял вновь и разрешил иначе” – то есть понятно, что нет окончательного решения у него, – это то, о чем Мандельштам говорит. Но если вы читатель, если вам это адресовано (*сквозь смех*) – вам это приятно или нет, что кто-то возится с вашими чертами лица, да? И еще об этом пишет?! (*Смех.*)

Так, да? Но дело даже не в этом. Я не буду комментировать насчет Прометея и насчет Эсхила, то есть не буду говорить об источниках, о *sources*, что называется, да? Об этом замечательно писал Кацис, я думаю, что это до известной степени исчерпывающе. Но смотрите, что делает Мандельштам:

Гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу!

Посмотрите на этот бесхитростный, опять-таки детский – “рисуя”! – у Мандельштама они всегда, эти лапидарные детские глаголы, выскакивают где надо и где не надо, то есть: *рисуя, убежал*³², и так далее, и так далее – то есть вот, непосредственность хода. И посмотрите, что происходит, когда “рисуя...” в этой строчке: “Гляди, Эсхил!...” “Эсхил” – это все-таки большие дела, древняя Греция, и так далее, и так далее, но – “Гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу!” И “рисуя” сказано опять с этой ребяческой интонацией; то есть опять, если вы читатель, если к вам это все адресовано, вы понимаете, что этот господин к вам не относится всерьез, да? Что-то вроде этого – то есть у вас реакция скорей негативная. (*Со смехом, с явным удовольствием от того, что получилось.*) Я могу – и я с удовольствием пройду по всему этому художественному произведению вот таким вот образом, да? – но, я думаю, у нас со временем лажа³³.

К у ш н е р. Я два слова... Я хочу сказать, что... Михаил Леонович уже сказал отчасти об этом – то есть в тексте, когда он говорит о том, что портретист (*Б р о д с к и й*: Да.) вносит свои черты в портретируемого, в изображение (*Б р о д с к и й*: Да.), они сливаются...

Б р о д с к и й (перебивая): Это все прекрасно; это... Сашенька, это все прекрасно, но вся история заключается в том, что он *пишет* об этом рисовании, да? Он пишет о том, “что я с тобой делаю”, да?

К у ш н е р (соглашаясь). Нет, я абсолютно... Да, да, да – *это* все правильно. И у меня есть еще одно соображение – я буквально уложусь в два слова... В три... Мне

кажется, что мы могли бы все-таки еще и вспомнить опять Пушкина с его рядом стихотворений: “Во глубине сибирских руд...”, “Анчар”, “Друзьям”, “Стансы”, “Арион” – они все написаны в одном размере. Это четырех-стопный ямб. Он не мог от этого оторваться – никак. Это поразительное дело! Но мы же не скажем, что это “николаевский цикл”!³⁴

Б р о д с к и й. Нет, мы не скажем, но это все правда насчет шестистопного ямба, потому что “На Красной площади всего круглей земля...” – это все возвышенный тон, и так далее, и так далее.

Л. Кацис говорит об одах “приемлемых” и “неприемлемых” для власти. Принимаются те, которые написаны “по-восточному”: дескать, ты лучший, величайший и т.д., а замысловатые, изощренные не оказывают нужного комплиментарного эффекта.

Б р о д с к и й. А еще замечательное обстоятельство знаете в чем, насчет восточных дел, да? Что на самом деле – это уже нелепые прыжки судьбы, эти страшные, да? – что в конце концов вот эта ода с хвалением ставится не в начале карьеры, да? – а в конце; то есть вот это еще, да? Не говоря о том, что всегда ода, она, по существу, – это, по-моему, ваша идея, Илья Захарович [Серман]? – что ода – это всегда утопия в стихе. То есть мир так ужасен и так далее, и так далее, что поэт – Державин, Ломоносов, кто угодно, – он кидается туда, вперед, и описывает то, что произойдет, как уже происшедшее. Это замечательная мысль. Здесь этого совершенно ничего нет – это личные отношения, да? – то есть ни о каком будущем замечательном... Единственное, что он говорит о будущем, – это совершенно бессмысленную фразу: “воскресну я сказать, что солнце светит”. Она и бессмысленная, и в высшей степени осмысленная. Это фраза, которая произносится уже на полном несемантическом отчаянии, да? – “...в играх детворы // Воскресну я сказать, что солнце светит”. Это тот позитивизм, который не имеет смысла, да? Та позитивность, которая лишена практического приложения, ну и так далее, и так далее.

4 июля, после вечернего чая. Обсуждение серии докладов о “Неизвестном солдате”: С. Монас («Osip Mandelstam and the “Unknown Soldier”»), Л.Ф. Кациса («Эсхатологизм и байронизм позднего Мандельштама. К анализу “Стихов о неизвестном солдате”») и М.Б. Мейлаха («“Неизвестный солдат”: Гюрджиевские мотивы у Мандельштама»)³⁵. В начале обсуждения Бродский выглядит несколько усталым, затем оживляется. Обсуждение затягивается и заканчивается в восьмом часу вечера.

<...>

Б р о д с к и й. Два слова по поводу этих апокалипсических интерпретаций³⁶. Это все чрезвычайно интересно, но – опять-таки, опять-таки, опять-таки – возникает некоторый конфликт со стихами, с их тональностью и с их буквальной тематикой. То есть начинается стихотворение довольно просто. Это по-английски становится непонятно, а по-русски все довольно просто.

Этот воздух пусть будет свидетелем,
Дальнобойное сердце его,
И в землянках всеядный и деятельный
Океан без окна – вещество...

Я думаю, что здесь никакой сверхъестественности тутстороннего порядка не присутствует. Это стихи, в общем, о военных действиях и о трагедии, которая скорее носит материальный характер, нежели, как бы сказать? – заскобочный, да? Это простые дела. И в конце концов идет действительно описание видения такого будущего катастрофы. Но опять-таки она катастрофа... Ну, в конце концов, апокалипсический визионер – он, при всех ссылках на горячо любимых авторов, тем не менее все-таки не станет рассуждать о скоростях света³⁷.

И своими косыми подошвами
Луч стоит на сетчатке моей.

Это все в очень сильной степени... То есть все, что происходит в этом стихотворении, грубо говоря, привязано к земле. Не надо об этом забывать и не надо особенно увлекаться. А что касается вообще... И вообще жуткие

вещи происходят, когда... То есть не жуткие вещи... потому что действительно, как вы сказали (*обращаясь к Л. Кацису*), действительно, можно подложить все что угодно.

Кацис. Это не я сказал.

Бродский. Нет, нет... Ну правильно – вот, в реакции на доклад Мейлаха вы сказали, что там может быть действительно и это, и это, и это... А может быть, это я ослышался; может быть, это не вы сказали.

Кацис. Нет, тут наложение. Михаил Борисович [Мейлах] и Георгий Ахиллович [Левинтон] сказали, что это апокалиптический текст, а я предложил просто просуммировать то, с чем докладчик согласен.

Бродский. Я не думаю, что в этой самой строчке: “В Европе холодно, в Италии темно”, – я не думаю, что наш поэт сопрягает Ариоста и Байрона. Это в общем-то и не надо, это можно просто так почувствовать и посмотреть, то есть совершенно... И “в *Италии* еще *темно*”... “В Европе холодно, в Италии темно...” Я не думаю, что вообще есть... “Власть отвратительна, как руки брадобрея” – это абсолютно физиологическая реакция, особенно у Мандельштама, который очень был тактилен в своих описаниях, особенно когда речь шла о вещах грубых и неприятных. Я не думаю, что нужно так... То есть я не хочу... То есть это дико в моем сознании, дико для меня это выговаривать, но двусмысленность надо выговорить. То есть я думаю... Я не знаю, как это сказать получше... То есть (*с нажимом*) *не нужно так глубоко копать, потому что это не для того написано!* (Смех.) В конце концов, напомним себе, что стихи написаны, чтобы производить впечатление на умы, сердца и души людей, а совершенно, в общем... и они сами по себе являются конечным продуктом.

Кацис. Ну... здесь трудно не согласиться, только я бы вот что сказал: мы же копаем не потому, что берется текст и начинается копание! Имеет место явное непонимание! И, на мой взгляд, все работы, выполненные до настоящего времени, выполнены – ну, в рамках одной, скажем так, парадигмы. И совершенно не учитываются именно те стихи... Ну хорошо, предположим, мне нужен Байрон – но стихотворение называется – “Ариост”! А во второй его части очевиден Тасс... Это же не мною придумано – я именно пытаюсь следовать тому, что написано! Ну...

Бродский. Угу... Ну даже если... Даже если – простите, просто я так в нормальном разговоре перебиваю, да? – дело в том, что даже если там Тасс, ничего удивительного в этой контаминации нет – Тасса с Ариостом. То есть это, в общем, как бы старые добрые времена, если угодно, это культура, и в культуре все контаминировано, да?

Кацис (оглядевшись). Ну коне...

Бродский. И совершенно не надо так их вычленять друг из друга и говорить: а, вот он слопушил, он совершил ошибку, он, мол, не образован или он чего-то не знал. Потому что для нас, в конце концов, для нас с вами, я не знаю, культура – это органика такая, и в органике вполне естественно совершать ошибки, ляпсусы, и так далее, и так далее. Это вполне даже приятная вещь, по-моему.

Кацис. А я не против, я вот что хотел сказать по этому поводу. (*Ропот.*) Речь идет вовсе не о всех ассоциациях, и не о том, что человек чувствует, читая стихи. Я, естественно, не могу читать так, как Вячеслав Всеволодович читает, – по понятным причинам – просто разные поколения и много чего, но...

Бродский. Погодите секунду. Вы сказали...

Кацис. Конечно!

Бродский. Иванов, и это очень важно... (*Кацис.* Да.) “разные поколения” – и это уже может, я думаю, – Мандельштам или человек, Мандельштама любящий, может немножко испугаться. Потому что каждое новое поколение – как бы сказать? – оно пытается себя обеспечить – ну, грубо говоря, какой-то пищей, так? или делом. И это может далеко зайти. Это опасно.

Кацис. Это безусловно так...

Левинтон (очень сердито). Давайте другим дадим сказать!

Кацис. Щас, я просто отвечу только на этот вопрос, в данном случае... (*Ропот.*) ...нет-нет, щас! В данном случае важно только то, что я попытался нигде не выйти за пределы того, что говорил Мандельштам. Если говорить о Байроне, то в “Разговоре о Данте” есть фраза, совершенно странная, о том, что “и в ад с презрением заглянул – вот основа всего европейского демонизма и байронистичности” <...> Я нигде сейчас не назвал ни одного имени, ни одного произведения, которое бы не было каким-то образом упомянуто.

Бродский. Если уж мы так говорим об этом, то в этих стихах довольно все просто, да? В “Стихах о неизвестном солдате” ада нет.

Кацис. Нет.

Бродский. Ну!.. (С жестом: что и требовалось доказать.)

Кацис. А тогда дело вот в чем... (Сильный шум, не дают говорить.) Ну – пожалуйста, я потом выскажусь...

Шварцбаг. Я хочу продолжить то, о чем очень коротко сказал Иосиф Александрович. <...> Все-таки нам даны стихи как результат какой-то умственной жизни, как нечто целое. Поэтому мне кажется абсолютно справедливым, что та строчка, которая может напомнить что-то у кого-то, допустим, “В Европе холодно, в Италии темно” – а где Италия? – в той же Европе – и можно начать рассуждать о противостоянии “холодно”, “темно” и так далее. Но все это завязано на предыдущие строки и связано с последующими. Мне кажется – для меня, по крайней мере, – вывод всей конференции именно в этом – что мы не очень четко представляем, когда мы занимаемся процессом творчества, а когда мы занимаемся результатом творчества, и все наши споры сводятся к противостоянию абсолютно разных объектов исследования, требующих абсолютно разных методик.

Левинтон. Я категорически против этого заявления! Потому что – что значит “психология творчества”?!

Шварцбаг. Процессы творчества...

Левинтон. При чем тут “процессы творчества”?! Откуда вы знаете, что вы можете вообще читать стихи?! Откуда вы знаете, что мы можем хоть слово сказать о том, откуда эти образы – как результат? Кроме единства стихотворения, и особенно у Мандельштама, есть единство мотивов, есть парадигматика мотивов, и она-то гораздо яснее. Это – то, к чему мы подходим, откуда вообще идея контекста! Мы нанизываем тексты на единство слова, которое через них проходит, и надеемся получить какой-то смысл; все остальное – просто болтовня! Все остальное, что мы можем говорить о смысле текстов, – это чистая болтовня! Мы должны... Мы ищем методы, мы к Мандельштаму близко не подошли, мы заняты первичной дешифровкой, мы учим язык! Поэтому разговоры о том, что есть какая-то психология творчества, что-то еще... Мы учимся читать! Надо осознавать скромно свое место в истории науки и в понимании Мандельштама!

Г а с п а р о в. Почти то же самое. Мы не изучаем процесс творчества – до этого наука психология еще не дошла; мы изучаем процесс восприятия, собственного восприятия. Поскольку мы просто читатели, – мы, конечно, не обязаны этим заниматься, но, поскольку мы филологи, каждый из нас обязан дать по крайней мере самому себе отчет в том, почему он воспринимает этот текст именно так. Какие элементы текста вызывают у него какие впечатления, как они складываются в целое и так далее. И то, чем мы занимаемся на этих конференциях, – это обмен этим читательским опытом, который в совокупности должен помочь нам овладеть, как это только что сказал Георгий Ахиллович, языком поэта. Мы учим его как иностраный.

Б р о д с к и й. Но это носит тогда, в конечном счете, характер автобиографический, не правда ли?

Г а с п а р о в. Пока каждый из нас занимается этим наедине с собой – да; а когда мы общаемся друг с другом – это уже становится коллективной биографией.

Б р о д с к и й (*очень довольный ответом*). А!.. – Замечательно! (*Смех.*)

* * *

5 июля, утро. Обсуждение докладов Д. Майерс («Гёте и Мандельштам: два эпизода из “Молодости Гете”»³⁸), Р.Д. Тименчика («Мандельштам и акмеистическая традиция»), Вяч. Вс. Иванова («Мандельштам и биология»).

Б р о д с к и й. Очень маленькое замечание, я начну с конца. Два соображения по поводу стихотворения о Ламарке. Меня занимает больше всего, что это стихотворение не отвечает [представлениям] о серьезных [биологических] штудиях Мандельштама. В этом стихотворении он, рассуждая обо всех этих замечательных материях, демонстрирует себя как маньерист в высшей степени. Посмотрите на эту строфу:

...Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками, и в пену
Океана завитком вопьюсь.

Это абсолютно маньеристический ход. Это с одной стороны.

Еще одно небольшое историографическое замечание по поводу Монмартра, по поводу всей этой *лестницы*. Я не могу просто отделаться от этого соображения. Дело в том, что... Вы знаете, за что, на основании какого сочинения Ламарк был принят во французскую Академию? Вы знаете, да? Вот. Дело в том, что Ламарк, закончив Сорбонну – ну естественно, все эти нормальные дела: выпускник, и так далее, и так далее, никаких денег, – жил в мансарде, то есть на самом верху, в мансарде шестизэтажного здания, и был настолько несостоятелен, что ему не хватало никаких средств на то, чтобы заниматься наукой, как ему, видимо, хотелось. И поэтому он занимался тем, что валялся на диване и в окно созерцал воздушный океан. И в один прекрасный день ему пришлось в голову классифицировать то, что он там видит, а именно – прохождение облаков. И вот, его первая работа, классификация облаков, которой мы обязаны всякими этими *кучевыми*, *перистыми* и так далее, – на основании этого самого прекрасного сочинения он был принят в Академию. И я предполагаю, что шестой или седьмой этаж вызвал у него представление о лестнице несколько болезненное³⁹. (*Смех.*) Это с одной стороны.

С другой стороны, по поводу Дианы Майерс. Мне просто пришли в голову, когда я слушал, два соображения, которые можно, если печатать, и так далее, и так далее, туда просто вставить. Дело в том, что вся эта история по поводу театра, и вообще концепция формообразующей [функции] толпы, да? – это все ужасно похоже на рассуждение Элиаса Канетти в книге “Массы и власть”, это абсолютно все оттуда идет. Это раз. И два-с – была интересная вещь... То есть все это рассуждение, оно уже есть в стихах. “Природа – тот же Рим...”: “рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить...” Но в вашем докладе как бы совмещение этого соображения, да?

И еще у меня одно небольшое наблюдение. Вообще, это стихотворение (“*Сохрани мою речь навсегда...*”) ни в коем случае нельзя оставлять в покое, этим надо заниматься, да? Амуниция дополнительная по поводу соображения о крови во второй строфе: входит она туда или не входит. Вы знаете, чисто лексически там есть замечательная конструкция, потому что она является как бы нарушением, отходом от привычной конструкции: “За смолу кругового терпенья”. “Круговое терпенье”, да? –

то есть, в общем, – отход от существующей конструкции “круговая порука”. Поэтому лексически это производит впечатление какого-то достижения, да? И в качестве дополнительной амуниции: соображение кругового движения – это все что угодно, – ганга (?), и так далее, и так далее.

* * *

5 июля, после докладов Н. Струве (“Христианское мировоззрение Мандельштама”), Аркадия Шуфрина и С.С. Аверинцева («Статус классической темы, или “Золотистого меда струя...”»)⁴⁰.

Бродский. Я хотел бы начать с этого самого стихотворения “Золотистого меда струя...”. Я не знаю, стоит ли там искать руки гения, – это стихотворение, по-моему, вполне заданное, если угодно, по жанру. Потому что самое интересное – это именно вот это восклицание: “золотое руно, золотое руно!” Восклицание о *золотом руно* в стихотворении о *Годиве*⁴¹, мягко говоря, можно тогда воспринять как бы и ляпсусом, если бы не диктат самого золотого руна, или образа золотого руна, или этого видения, сравнения волос с золотым руном, да? Но это в стору.

Я хотел бы остановиться несколько подробнее на докладе Никиты Алексеевича [Струве].

Вообще в этике поэзии XX века, то есть в этике вообще более-менее общежительной – но особенно в поэзии, то есть в этике поэзии XX века, – не принято упоминать имя Божие всуе, начать с этого, да? Оден говорил: как повезло Иоганну Себастьяну Баху в его время – если он хотел восславить Господа, да? – он писал ему прямо, непосредственно, что называется, по адресу – кантату. В наше время, именно потому, что столько сделано, следует пользоваться косвенной речью, говорить об этом обиняками. Пересчитывать случаи упоминания имени Всемогущего в каком бы то ни было стиле: в письмах, и так далее, и так далее – это, конечно, увлекательно, но и несколько пугает, с другой стороны, Никита Алексеевич, потому что... Я вспоминаю истории о столпниках: кто-то из сидящих на столбе совершил триста поклонов, и так далее, и так далее – в день. Меня не это испугало в этом

наблюдении, что он их совершил, а то, что стоял человек и считал! Более того, говорить о том, христианский ли поэт Мандельштам или не христианский поэт, я думаю, что это, в общем... В конце концов, мы не святые Петры, и не нам пускать его или не пускать в рай, и так далее!

Более того, я вообще думаю, что постановка вопроса о верованиях, религиозных симпатиях, чувствах того или иного порядка не совсем рациональна вот в каком смысле. Я думаю, что культура на сегодняшний день – по крайней мере по тому материалу, который она в себя вбирает, религиозному или какому угодно, – она, на мой взгляд... – это я предлагаю свое частное мнение; то есть не то что частное мнение... это такое соображение, предположение – она переросла ту доктрину, которой она довольно долго служила. (*Убежденно.*) Никогда она, между прочим, и не была собственностью этой доктрины, начнем с этого. Она служила христианству, но, я думаю, она до известной степени на сегодняшний день, если так можно взглянуть ретроспективно, переросла христианство, как, впрочем, и любую доктрину, которой она служила. Более справедливым, чем вопрос о том, чем является данная культура в христианстве, является... Вопрос может быть поставлен иначе: является ли христианство достаточно культурным? Когда мы ответим на первый вопрос – тогда, может быть, мы начнем отвечать на вопрос действительно об устремлениях и склонностях Мандельштама. Тут, я думаю, у нас возникнет возможность получить более внятный ответ. Потому что христианская культура или культура, которую мы называем “христианской” условно, или я уже не знаю, что здесь прилагательное, а что существительное, – она же вобрала в себя довольно много. Ее аппетит – как я пытался что-то вякнуть по этому поводу давеча – ее физический аппетит, он заставляет ее смотреть в разные, абсолютно противоположные христианству стороны, да? – в сторону языческую, в сторону чего угодно. Заметьте себе, что христианство воспользовалось языческой культурой для своего, как бы сказать, развития, ибо у христианства своей культурной идиоматики не было, да? То есть ему пришлось брать колонны из греческих храмов, если угодно. Ну и так далее, и так далее... ну что я буду очевидные вещи говорить? Я думаю, что культура – явление кумулятивное, оно включает в себя массу вещей, да?

И было бы разумнее говорить о пропорции христианской тематики и христианского мироощущения, скажем, в “культурной массе” Мандельштама, нежели ставить вопрос, христианский он поэт или нет, – это неправильная, по-моему, постановка вопроса по существу.

<...>

...Вы знаете, я не хочу открывать этот рог страшного изобилия на эту тему. Но вообще-то все довольно сложно. Потому что, прежде всего – прежде всего, если принять Ахматову за стандарт христианского поэта, да? или христианской души... Прежде всего, я не особенно уверен в том, что мученичество – это такая уж прерогатива, такое уж требование необходимое к поэту, и так далее, и так далее, и что это есть имитация Христа. Я не уверен в этом. Это вообще тянет на имитацию только в том случае, если происходит в определенном возрастном параметре, это с одной стороны, – я имею в виду 33 года – тогда это так. После этого... Одну секунду! (*На протестующий жест Н.А. Струве.*) Я понимаю, что это несколько еретически звучит, но в этом есть здравый смысл. Если мы говорим об имитации – мы говорим именно об *имитации*. Не говоря о том, что мне вообще не нравятся все эти разговоры о том... То есть, по крайней мере, что касается в применении... Ну ладно, то, что мне не нравится, я хочу оставить – но вообще, когда мы говорим о мученичестве у Мандельштама – что он принял христианскую идею и потому все так обошлось, то он не был камикадзе, да? То есть он не “пошел” на мученичество, а был *послан* на него, – на *оное*, – и послан был силой, от которой не мог уклониться, то есть это не особенный и выбор, да? – если угодно. Тогда и Оцуп пошел на то же самое мученичество, там много было других поэтов и не поэтов и так далее. – Нарбут, что я говорю! – То есть тут не надо ничего такого особенного постулировать⁴².

* * *

Эти два высказывания по вопросу о роли христианства в мировоззрении поэта, который часто возникал и продолжает возникать до сих пор по отношению к самому И.А. Бродскому, оказались последними оставшимися в записях конференции. На этом обсуждении закончилась регламентная часть. Далее, вечером 5 июля, был прием в частном маленьком садике Дианы Майерс, очень по-отечественному запущен-

ном. На траву были выставлены три небольших стола – два с закусками, один с разнообразной выпивкой, приятно радовавшей глаз приехавших из голодного тогда Союза. Постепенно темнело. Ученые ходили со своими стаканчиками между столами, отдавая должное закускам и питью, останавливались, беседовали; хозяйки почти не было видно; там и сям скромно и с достоинством среди нескольких других женщин – жен и дочерей – появлялась красавица Мария, на которой Бродский недавно женился. Сам он выглядел несколько утомленным; говорил о Кавафисе, о готовящемся объединении Европы (очень отрицательно) и о том, почему это молодежь, будучи почти у него в гостях, ничего не пьет.

Это была неправда. Молодежь (к которой относился, вероятно, только автор этих строк и еще, может быть, Лёня Кацис) пила не меньше других – настолько не меньше, что даже сегодня события того вечера видятся как бы сквозь радужный ореол, как на некоторых манерных фотографиях. Было поздно, на метро мы едва успевали, на такси денег не было, уходить было жалко; я как раз высказывал Кацису свои соображения на этот счет – и тут вдруг возник, как бог из машины, М.Б. Мейлах – с “беломориной” в руке, с каким-то напитком в пластиковом стаканчике и едва ли не при “бабочке”, сунул мне в карман несколько фунтов и исчез, не говоря ни слова. Этот жест, который я до сих пор вспоминаю с благодарностью, очень органично связал происходящее вокруг с, казалось бы, оставленными дома, но не позабытыми традициями кухонной взаимовыручки. Будто и не “прием” это никакой был, а просто фамильярный дружеский “междусобойчик”; будто собравшись у кого-то из “своих”, посидели пять дней, хорошо поговорили о разных интересных вещах, выпили, хозяйка вкусный салат сделала, и был как будто особенно интересный гость, а выводы, к которым пришли, – потом обдумаем, вспомним; теперь же пора и честь знать, хозяева устали. Выслушав в битком набитой кухне г-жи Майерс, с ощущением полной солидарности, благодарственную прочувствованную речь Ю.И. Левина по адресу организаторов всего мероприятия, мы в конце концов успели всюду, куда нам было надо. А несколькими днями позже вернулись в Москву и оказались опять совсем уже в другой, привычно мутной обстановке (очереди, талоны, грязь, пустые магазины, добывание денег в поте лица) – по сравнению с которой лондонские дни вспоминались как далекая и не очень реальная сказка; а еще через пару недель при довольно мерзкой погоде начался август 1991 года.

За прошедшее с момента конференции время очень многое изменилось – в социальном плане, в индивидуальном; вернувшийся в страну после длительного отсутствия, вероятно, не узнал бы местности; из людей кто-то повзрослел, кто-то, вероятно, постарел; от того симпозиума круги до сих пор расходятся; научная жизнь идет – то есть во всех областях происходят нормальные, в общем-то, дела. Изюм всей этой сферы житейской нормальности выламывается только то, что Бродский умер.

¹ Столетие Мандельштама: Матер. симпозиума. Tenaflly, 1994. (Далее сокр.: – МС).

² Звезда. 1997. № 1.

³ В стихах на этой особенности произношения могут даже строиться рифмы, например:

...Творец, творящий в таких масштабах,
делает слишком большие рейды
между объектами. Так что то, что
там Его царствие, это точно.
Оно от мира сего заочно.
Сядьте на свои табулеты.

⁴ Все выступления в дискуссиях происходили с места, из зала. Хотя помещение было не очень большим, дистанция была все же достаточной, чтобы иногда микрофон, что называется, “не брал” звук.

⁵ Выступления Бродского на конференции собраны здесь практически все. Преимущественно представлены короткие выдержки из дискуссий. Только в одном или двух случаях, когда речь шла о принципиальных методологических вопросах, я позволил себе привести более обширные отрывки.

⁶ Доклад опубликован в МС.

⁷ “Послушайте простую песенку...” (Из статьи Мандельштама “Слово и культура”).

⁸ Последние два опубликованы в МС.

⁹ Подробнее о мотиве оглядки см., например, в разборе Бродским стихотворения Рильке “Орфей. Эвридика. Гермес” (*Бродский И.* Девяносто лет спустя // Звезда. 1997. № 1).

¹⁰ Опубликован в МС.

¹¹ Несколько утрированный ход, выпад против стремления навязать двадцатилетнему Мандельштаму знакомство едва ли не со всей мировой культурой.

¹² Речь шла о стихотворении Б. Пастернака “О, знал бы я, что так бывает...”.

¹³ Характерная для Бродского речь с позиции разбираемого автора: он как бы перевоплощается в Мандельштама, входит в ситуацию изнутри. В разборе, например, “Оды” Сталину еще более характерный случай: он показывает ситуацию даже с позиции *адресата* стихотворения.

¹⁴ Даже самую жесткую по существу критику Бродский стремится сделать максимально мягкой по форме: “Это, я думаю, в общем-то интересно, но не особенно правомерно...” – ту же самую оценку можно было высказать гораздо короче и резче, особенно по отношению к докладу, построенному в духе столь распространенной “произвольной компаративистики”: “мне пришлось в голову, что это стихотворение Пастернака похоже на это стихотворение Мандельштама”. На этой конференции Бродский, видимо, исходя из соображения, что все собравшиеся – “свой” и занимаются общим делом, не пользуется “кинжальным огнем”.

15 Имеется в виду версия о том, что в начале стихотворения содержится аллюзия на патриарха Тихона, взявшего на себя руководство церковью в “великий сумеречный” 1918 г.

16 Опубликовано в МС.

17 Все опубликованы в МС.

18 Стихотворение “Возьми на радость из моих ладоней...”.

19 Очевидно, имеются в виду строки: “Нам остаются только поцелуи, // Мохнатые, как маленькие пчелы, // Что умирают, вылетев из улья...”

20 Имеются в виду стихотворения Мандельштама “Квартира тиха, как бумага...” и Ходасевича “Баллада” (“Сижу, освещаемый сверху...”).

21 Опубликовано в МС, кроме доклада Мих. Лотмана.

22 То есть постановку задач и их конкретное решение.

23 Приблизительная цитата из доклада М.Л. Гаспарова.

24 Из стихотворения “Мне кажется, мы говорить должны”: “Что ленинское-сталинское слово – // Воздушно-океанская подкова...”

25 Процесс создания произведения.

26 Ссылка на одну из реплик в обсуждении.

27 Имеется в виду “Мы живем, под собою не чуя страны...”.

28 Обратите внимание на бессознательную обработку Бродским этих двух синонимов: как слово “оборот”, меняя значение, все же используется в речевом потоке. Может быть, об этом моменте следует подумать исследователям языка Бродского.

29 Похожий случай. Семантика двух слов: “личного” и “филологического”, складываясь, дает некое суммарное значение; причем слово “филологический” логикой синтаксиса приравнивается к слову “интимный” в итоговом сочетании. А мысль о филологии как личном, интимном деле была одной из любимых мыслей Мандельштама. Следует помнить, что описанное происходит не в процессе скрупулезного отбора слов, а в скороговорке, т.е. почти стихийном речевом потоке.

30 [...он смеет!] – судя по интонации.

31 Смысл не очень ясен.

32 О “детскости” глагола “убежал” (“...к nereидам на Черное море”) Бродский говорил в своем вступительном разборе стихотворения “С миром державным...”.

33 Вероятно, подобным образом, как в этом импровизированном разборе начала “Оды”, Бродский действовал и на своих учебных лекциях, говоря о стихах, – с поправкой, конечно, на разницу аудиторий.

34 Полемика с М.Л. Гаспаровым, привязывающим к сталинской оде (абсолютно обоснованно) ряд одновременных с ней стихотворений (см. опубликованный текст доклада).

35 Последние два опубликованы в МС.

36 Одна из излюбленных тем метафорических рассуждений о “Стихах о неизвестном солдате”: Армагеддон, Апокалипсис и т.п.

37 Это называется “обломать метафору”: столкнуть произвольное метафорическое рассуждение с конкретным смыслом стихотворения.

38 Опубликовано в МС.

39 “Ламарк” – одно из стихотворений, вызывавших множество глубокомысленных толкований: “трагедия деградации” и т.д. Бродский первый увидел в этом стихотворении очевидное (после его слов) – отсутствие трагизма, что-то вроде примерки на себя, как на маскараде, “костюмов” разных живых существ: “а что было бы, если бы...”. Он как бы дополнил медаль недостающей второй стороной.

⁴⁰ Доклады Н.А. Струве и С.С. Аверинцева опубликованы в МС.

⁴¹ Речь шла о том, что прообразом “хозяйки” из стихотворения “Золотистого меда струя...” и “леди Годивы” из “С миром державным я был лишь ребячески связан...” служит одна и та же женщина.

⁴² Все это реплики на доклад Н.А. Струве, где он говорил и о том, что христианство Мандельштама не вызывает сомнений, и о количестве упоминаний имени Господа в стихах Мандельштама, и о добровольном его подражании Христу, и о других подобных вещах в духе “Вестника РСХД”.

Многоуважаемый Иосиф Александрович

Мандельштамовское общество очень просит Вас ответить на вопросы этой анкеты. Ответы будут опубликованы во втором номере бюллетеня общества.

12.07.1992

Да

1. Появляю ли творчество Мандельштама на формирование Вещего собственного поэтического мира?

2. Какие стихи Мандельштама Вы любите больше других?

3. Приписывается ли Вам поэзия стихов Мандельштама-ранним?

4. Как Вы относитесь к мандельштамовской "Оде"?

5. Не мешает ли адекватному прочтению Мандельштама время "перестройки" и "гласности"? С ~~мало~~ мало ~~гласности~~ нет

6. Есть ли у Вас стихи, связанные с именем Мандельштама?

Нет

Иосиф Бродский

ОТВЕТ НА АНКЕТУ МАНДЕЛЬШТАМОВСКОГО ОБЩЕСТВА

В середине 1992 года более пятидесяти русских поэтов получили по почте составленную О. Лекмановым анкету Мандельштамовского общества. Ответ был получен только один. Из Нью-Йорка, от Иосифа Бродского (к слову сказать, члена Совета Мандельштамовского общества). Приводим этот ответ и воспроизводим его факсимиле:

Многоуважаемый Иосиф Александрович!

Мандельштамовское общество очень просит Вас ответить на вопросы этой анкеты. Ответы будут опубликованы во втором номере бюллетеня общества.

12.07.1992

1. Повлияло ли творчество Мандельштама на формирование Вашего собственного поэтического мира?

Ответ: Да.

2. Какие стихи Мандельштама Вы любите больше других?

Ответ: Поздние.

3. Предпочитаете ли Вы поздние стихи Мандельштама – ранним?

Ответ: Нет.

4. Как Вы относитесь к мандельштамовской “Оде”?

Ответ: Как к одному из его лучших стих-й.

5. Не мешает ли адекватному прочтению время “перестройки” и “гласности”?

Ответ: С моей точки зрения – нет.

6. Есть ли у Вас стихи, связанные с именем Мандельштама?

Ответ: Нет.

ВОСПОМИНАНИЯ

И. Ханцын

О МАНДЕЛЬШТАМЕ

Мемуары – не мой жанр: но болезнь помешала мне выступить и рассказать о Мандельштаме так, как хотелось бы, потому я прошу простить мне эскизность моих заметок. Но хотя бы в нескольких словах мне хочется охарактеризовать этого удивительного человека.

Первая моя встреча с О.Э. Мандельштамом состоялась в Киеве, в 1919 году. Сначала я встретилась с Н.Я. Хазиной, с семьей которой я очень дружна, – Осип Эмильевич появился позже.

Киев был тогда проходным городом, в котором скопились люди, бежавшие из голодных Москвы и Петрограда. Было в Киеве кафе, называвшееся ХЛАМ (художники, литераторы, артисты, музыканты), куда стекались все люди искусства, – там мы и познакомились с Мандельштамом. При первой встрече поразили его стихи, и внешность, и особенно чтение стихов.

Но знакомства были тогда непрочны: власть постоянно менялась, мы не знали, что будет завтра, – кто-то уходил с белыми, кто-то с красными, кто-то прятался или бежал за границу.

При первой же возможности, в 20-х годах, я уехала в Ростов. Спустя некоторое время там появились и Мандельштамы.

Опять-таки все пути вели в Кафе Поэтов, куда мы приходили выпить чайку, узнать новости и, конечно, почитать стихи и послушать музыку. Посетители кафе были самые разнообразные, вплоть до Хлебникова. Но и в Ростове пребывание Мандельштамов не было продол-

жительным: они сами не распоряжались тогда своей судьбой, так же, впрочем, как мы все.

В Ростове я встретила с А.С. Моргулисом, за которого вышла замуж, и мы вернулись в город моего детства, город, где я училась, — Ленинград.

Следующая наша встреча и более близкое знакомство с Осипом Эмильевичем произошли уже в Ленинграде (1925–1927): тогда Мандельштамы жили в Лицее, мы часто бывали у них, они — у нас. И после переезда Мандельштамов в Москву наши отношения не прервались — мой муж чуть ли не еженедельно бывал в Москве по роду работы. (Он был членом Правления Союза писателей, а кроме того, ездил по издательским делам — он был переводчиком.) Осип Эмильевич очень нежно любил моего мужа. Как мне помнится, таким же нежным взглядом он смотрел на своего младшего брата Шуру. У нас Мандельштам как-то смягчался, его внутренняя напряженность разряжалась; кроме того, он очень доверял литературному вкусу моего мужа. Осип Эмильевич постоянно читал нам стихи. Сам очень радовался рождению каждой “моргулеты” (здесь стоит почитать что-нибудь из “моргулет”).

Хочется добавить, что он был вращен в Петербург и в то же время горячо любил юг и всегда стремился туда; с Москвой он не сливался.

Все мы, во всяком случае большинство, принадлежим к какой-нибудь породе животных — Осип Эмильевич был похож на птицу: это птичье сказывалось во всем. Его голова была чуть поднята кверху и наклонена набок при опять же птичьей летящей походке. Его лицо всегда обращало на себя внимание из-за необыкновенно выразительных глаз — страдание в них сменялось нежностью, задумчивостью, иногда в них было отсутствующее выражение.

Главным в этом человеке была эмоциональная окраска всего, что бы он ни делал: на все повышенная реакция. Он был легко раним и впечатлителен, очень остро все воспринимал.

На протяжении всех лет, что я его знала, он подсознательно — а возможно, и сознательно — сопротивлялся всему бытовому. (А может быть, он протестовал против традиций семьи, своего буржуазного воспитания.) Ему было все равно, что на нем надето. Вот пример: в Росто-

ве он отправился в парикмахерскую, потом зашел за нами в Кафе Поэтов и сказал, что забыл в парикмахерской шляпу; мы все отправились за шляпой, но гардеробщик выгнал, сказав, что Мандельштам он видит впервые. Оказалось, что за углом есть другая парикмахерская, туда Осип Эмильевич пошел уже один – мы побоялись.

На этот раз не ошибся и вышел в шляпе – но в какой! – это было что-то вроде котелка неопределенного цвета и формы, в которой Мандельштам почти провалился.

– Ося, что у тебя на голове?! – говорила Надя. Он удивлялся:

– Как, разве это не моя шляпа? – Мандельштам не знал своих вещей.

И вещи не любили его и убегали от него, все пропадало. Надежда Яковлевна без конца искала исчезнувшие вещи.

Так же он относился и к деньгам – радовался им и очень легко, сам не зная на что, тратил, так что денег, как правило, не было.

Каждому человеку присущ стиль и, следовательно, свой антураж. Но если бы режиссеру пришлось ставить спектакль о Мандельштаме, то он оказался бы в затруднении – в какую обстановку поместить этого удивительного человека. Он не нуждался в обстановке: в столовой, в секретере и т. п., – для создания стихов ему было достаточно кухонного стола или подоконника.

Создать ему быт Надежда Яковлевна не могла: он разрушал его тут же, да она и сама не очень это умела – в чем-то они были очень похожи. Их взаимные отношения доходили до общего дыхания. Ей было много хлопот с ним: она старалась уберечь его от непонимания и нападок, она боялась отпускать его одного – он не умел соблюдать правил так называемого общественного порядка, в котором очень плохо разбирался, и поэтому боялся уличной администрации – милиционеров и управхозов; кроме того, он был рассеян.

Эта постоянная боязнь чего-то ощущалась в нем постоянно, он словно предчувствовал свой рок.

Как чтец своих стихов Мандельштам незабываем. Ему была присуща поразительная музыкальность, и

ритм стихов он ощущал и передавал не как производную игру, а как музыку.

Ритм был ему врожден. Свои стихи он оркестровал поразительно и как поэт, и как чтец. Интонации его были очень выразительны и разнообразны – все это делало стихи в его устах еще значительнее.

Интонации менялись. Например, шуточные стихи “Александр Герцевич” или “моргулеты” произносились совсем в другой тональности, для них он находил новые краски. Его музыкальность проявлялась, конечно, не только в поэзии; такого слушателя интересно иметь любому исполнителю.

Он любил Шумана, Шопена, Бетховена, Скрябина, Баха. Я часто играла ему – он слушал с блаженным видом и закрытыми глазами. При этом часто невнятно произносил какие-то слова, вероятно, музыка в его восприятии тотчас сливалась с поэзией.

Я не исследователь и не аналитик – здесь есть специалисты-филологи, объясняющие его творчество лучше меня, но я горжусь и никогда не забуду своих встреч с этим человеком, одарившим нас своей гениальностью.

(Ноябрь, 1975 г.)

Об авторе

“Сыграйте мне Вашего Скрябина”, – говорил ей Осип Эмильевич. И она садилась к роялю и безотказно играла его любимые скрябинские вещи – еще ранние, в шопеновском духе опусы 16-й и 37-й.

Их же она сыграла и мне в вечер нашего знакомства – 22 октября 1981 года: в тесноте и уюте своей коммунальной комнаты.

Тогда же я впервые прочел воспоминания Изы Давыдовны об Осипе Эмильевиче¹. То был конспект ее выступления на вечере памяти Мандельштама в Ленинградском Доме Писателя в ноябре 1975 года – простые, теплые, дружеские, человеческие записки.

Осипа Мандельштама, как, впрочем, и Наденьку Хазину, и Бенедикта Лившица, Иза Ханцын знала еще по Киеву 19-го года. И по Ростову 22-го, где она познакомилась со

своим будущим мужем – Александром Осиповичем Моргулисом, адресатом знаменитых мандельштамовских “моргулет” начала 30-х годов (например, такой: «У старика Моргулиса глаза // Преследуют мое воображение, // И с ужасом я в них читаю “За // Коммунистическое просвещение”»).

Чаще всего, по-видимому, они виделись в 1924–1928 гг. – в ту пору, когда Мандельштамы жили в Ленинграде и Детском Селе. Осип Эмильевич и Александр Осипович привязались друг к другу, дружилось им весело и легко. Вот лишь одно из свидетельств – письмо Мандельштамов Изе Давыдовне, отправленное зимой 1930/31 года, то ли в конце Старого, то ли в начале Нового года, из Старого Петергофа, где в санатории ЦЕКУБУ “Заячий ремиз” отдыхали Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна: “Дорогая Иза Давыдовна <далее следует нотописная “цитата” по памяти из Сонаты соль-минор Шумана для фортепиано.– П.Н.>. Эту музыкальную фразу, весьма коряво здесь начертанную, и еще очень многое хотелось бы услышать от вас и Ал. Осиповича. И я бы тоже очень хотел и слышать и видеть вас. И еще многое другое. И Александра Осиповича!..”

Ну, конечно же, она приехала тогда. Поскольку с первой своей встречи с Мандельштамом прониклась к нему подлинным благоговением, сразу же для себя решив, что он – гений. Его стихи к Ольеньке Арбениной – лучшее, что она знала в любовной лирике.

...Спустя два месяца после нашего знакомства Иза Давыдовна приняла участие в одном из мандельштамовских вечеров – по тем временам события большой редкости. Под председательством Аркадия Акимовича Штейнберга вечер состоялся 22 декабря 1981 года в Обществе книголюбов города Химки. Участвовали в нем, кроме ведущего и автора этих строк, Мариэтта Чудакова, поэт Юрий Трифонов-Кувалдин и Иза Давыдовна Ханцын. Сколько же было с вечером треволнений: и партком возражал, и все что хочешь, – но к большой чести устроительницы, Евгении Тихоновны Рысиной, вечер состоялся и запомнился (чего не скажешь о ЦДЛ, где запланированный на январь 82-го года вечер был выброшен из плана всевластным тогда Феликсом Кузнецовым).

О вечере в Химках я позволю себе процитировать свои беглые заметки, сделанные по горячим следам: «...Гвоздем вечера, бесспорно, была Иза Давыдовна. Прав Померанц,

сказавший, что была в ней та простота и раскованность речи, непосредственность чувств и выражений, которая ей присуща как непосредственной представительнице “серебряного века”... Иза Давыдовна рассказала о своих встречах с О.Э., о том, какой это был человек, как он любил Шуру, своего брата, вдова которого <Элеонора Самойловна Гурвич. – П.Н.> сидит тут в зале (и я видел, как это было той приятно – и ее “ребенку”, Шуре, тоже), о его абсолютном музыкальном вкусе (он, по ее словам, больше всего любил романтиков: Шумана, сонаты Шопена, Бетховена и особенно – Скрябина) и в завершение сыграла два скрябинских опуса – 16 и 37... Голос Мандельштама был заключительным аккордом: Иза Давыдовна узнала его манеру, его голос – слова трудно разбирались – и страшно обрадовалась, а Аркадий Акимович, наоборот, сказал, что ему Мандельштам читал стихи уже несколько иначе...»

Собственную судьбу Изы Давыдовны Ханцын – ровесницы века (она родилась в 1899 году) легкой не назовешь. Ученица Феликса Блюменфельда и Калантаровой, Иза Давыдовна в 1926 году окончила экстерном Ленинградскую консерваторию, а в 1936 году – аспирантуру при ней. После ареста и гибели мужа в 1938 году как член семьи врага народа она была выслана из Ленинграда в Ташкент и жила в том же дворе, где позднее поселились Анна Андреевна и Надежда Яковлевна. После войны сумела вернуться в Ленинград, получив работу и должность доцента в консерватории (на пенсию она так и ушла доцентом – по классу теории). Несмотря на возраст и одиночество, многие люди, в том числе молодые, находили в ней то, что называется душевной опорой. Силы она черпала исключительно в музыке...

В 1984 году, после перелома шейки бедра, Иза Давыдовна уже не оправилась. Шел ей тогда восемьдесят шестой год...

Воспоминания И.Д. Ханцын печатаются по машинописной копии, подаренной ею публикатору.

¹ Весть о том, что незадолго до этого – в 1979 году – эти воспоминания были опубликованы на Западе (“Вестник Русского Христианского Движения”. 1980, № 132. С. 140–144. Публ. В.А. Швейцер), внесла в жизнь Изы Давыдовны известные опасения (к тому же, по ее словам, согласия на публикацию никто у нее не спрашивал).

² См. о нем в: *Никитаев А.Т.* Мандельштам и Моргулис: начало “поэтического знакомства”. // “Отдай меня, Воронеж...”. Третьи Международные мандельштамовские чтения. М., 1995, С. 327–332.

³ Письмо впервые опубликовано А.Г. Мецем и В.Н. Сажиным в: *Григорьев А., Петрова Н.* Мандельштам на пороге тридцатых годов // *Russian Literature*. 1977, vol. V-2. С. 186 (автограф воспроизведен там же, на с. 192).

Публикация, примечания и послесловие П. Нерлера

Н. Соколова

КОЕ-ЧТО ВОКРУГ МАНДЕЛЬШТАМА*

Разрозненные странички

1. Особняк в стиле барокко

О семье Канегиссеров

Рассказала мне эту историю моя мама Надежда Германовна Блюменфельд. Ее молодость прошла в Одессе, она была дочерью популярного в городе адвоката, закончила гимназию, потом стала студенткой университета, круг знакомств сложился широкий. В 1963 году в случайном разговоре мама упомянула, что хорошо знала семью Канегиссеров. “Постой, постой, мама! Был такой Канегиссер, убийца Урицкого”. “Ну да, те самые”. Она стала рассказывать о своих одесских и петербургских встречах с Канегиссерами. Я схватила ручку. “Помедленнее. Буду записывать”.

Данная подборка посвящена Мандельштаму. В рассказе мамы всего несколько абзацев о Мандельштаме. Сначала я хотела просто привести тут эти несколько абзацев, но потом передумала. Абзацы, вырванные из контекста, показались мне бедными, невыразительными. Нет, пусть будет широкий фон, пусть будет та среда, с которой соприкасался Мандельштам в Петербурге. Тем более что все это очень мало известно, кануло в Лету.

Ну, что тебе рассказать? Канегиссер-старший был выдающимся, очень известным в России инженером, директором Николаевского судостроительного завода, вы-

*В сокращенном и искаженном виде фрагмент 1 был опубликован в журнале “Столица” (1992. № 5. С. 54–55).

сокооплачиваемым специалистом. Лето семья всегда проводила на одесской даче, у моря. И вообще его дети подолгу жили в Одессе, даже после того, как отец был переведен в Петербург, получил высокий пост (кажется, Главный строитель Военно-морского флота). Дети – это старшая дочь, которая претенциозно называла себя Лулу, и два сына, Сережа и Лева (Леонид). Лулу – чрезвычайно светская, разбитная в разговоре, крупная и полная, с плохим цветом лица (она вечно занималась своей кожей, кремы, маски). Сережа – тоже полный, величественный, медлительный, учился на юридическом. Лева – высокий, стройный, элегантный, черноволосый, нос с горбинкой, тип Захара Хацревина¹; писал стихи, интересовался литературой. Все трое – необыкновенно культурные, начитанные, конечно, знание языков, ну и все прочее. Эстеты, изломанные, с кривляниями и вывертами, с какой-то червоточинкой. Лева любил эпатировать добропорядочных буржуа, ошарашивать их презрением к морали, не скрывал, например, что он гомосексуалист. Сережа важничал, смотрел на всех сверху вниз, умел осадить человека. Готовый видный адвокат. Отец – большой барин, холеный, ничего еврейского, только европейское. Сережа повторял: “Канегиссеры – это звучит гордо”. Звучало немного смешно, особенно потому, что немецкое “канегиссер” означает “клизма”.

Жили мы в очень большой квартире, у меня были две сестры и брат, вечно толкалась молодежь, устраивались театрализованные вечера. Канегиссеры стали у нас бывать. Кажется, первым с ними познакомился Виктор Типот, мой будущий муж и твой будущий отец, в кружке поэтов при Доме литераторов (Дом литераторов помещался на Дерибасовской внизу, переулок направо).

Как мы относились к Леве? Как его воспринимали? Довольно иронически, насмешливо. Его выверты нам не импонировали. Однажды вечером у нас устроили тир, гости стреляли из лука в какие-то размалеванные мишени, а им потом вручали призы. Как правило, издевательские, ехидные (лысому – огромную гребенку, скуповатому – амбарный замок). Лева Канегиссеру достался большой фанерный ящик, в нем другой, поменьше, в том – еще меньше. В последнем лежала отдаленно похожая на Леву маленькая фигурка, которую мы вылепили сами.

Во всех ящиках было полно стружки, на фигурке лежала записка: “Стружка – чтоб не ломался!” Эту недобрую шутку придумала, если память мне не изменяет, моя гимназическая подруга Вера Инбер – будущая известная поэтесса.

Я бывала наездами в Петербурге. Помню первый визит к Канегиссерам (кажется, в 1913 году, если я не путаю). У них был собственный двухэтажный дом в стиле псевдобарокко со стеклянным проемом на крыше, переулок где-то около Таврического, в центре, но аристократически тихий. Швейцар спросил, к кому я, к хозяину или к хозяйке, или же к кому-то из молодых. После моего ответа (я попросилась к Лулу) он вызвал лакея, тот спросил, о ком доложить. Со мною это было впервые – прямо как в дворянском романе. В Одессе они были скромнее, их петербургский стиль меня поразил. Одесские семьи, даже очень богатые, держали кухарок, горничных, но мужской прислуги не было, о гостях не докладывали.

Внизу особняка были общие парадные комнаты с очень высокими потолками, а молодежь жила наверху. У каждого – по двух-трехкомнатной квартирке. Причудливо обставленная обитель Лулу была как бонбоньерка, везде ковры, масса безделушек, в спальне на полу шкура белого медведя.

Дом открытый, гостеприимный, масса молодежи, все голодные поэты там ели и пили; если ты знаком, то всегда можешь придти к обеду или ужину, да еще привести с собой кого-нибудь. Я была один раз на званом вечере: совсем как в “Войне и мире” – хозяин и хозяйка у входа с любезными улыбками и любезными репликами, все в вечерних туалетах. А в обычный вечер – гости без особого приглашения, дом был фактически как клуб, кто хотел, тот приходил и делал что хотел. Известные поэты читали стихи, музыканты играли на рояле, певцы пели. Кому становилось скучно внизу, не хотелось участвовать в общем разговоре, тот шел наверх покурить или просто поговорить в комнаты к Сереже или Лева, это можно было сделать даже в отсутствие хозяина. Наверху было интимнее – маленькие уютные комнатки с низкими потолками, как обычно бывает на последнем этаже в старых особняках пушкинской поры. Возьмешь двух-трех приятных собеседников, идешь наверх.

Мне, в общем-то, у Канегиссеров нравилось. Да, лакеи, визитные карточки и прочие петербургские штучки, но, с другой стороны, полная непринужденность, очень просто и свободно. И танцы петербургские нравились – фоксы, чарльстон (в Париже его танцевали с 12-го года), регтайм.

Бывали у Канегиссеров Гумилев, Кузмин, Мандельштам, другие поэты. Лулу с успехом играла роль хозяйки салона, этаким современной Аннет Шерер. Осип Мандельштам часто читал стихи, я почти всегда уходила, мне было скучно, стихи – не моя стихия. Музыку слушала с удовольствием. Из поэтов запомнила, пожалуй, одного только Мандельштама: еврейская наружность, маленький, унылый, какой-то облезлый, напоминает Шурку Фрумкина². Он читал стихи в петербургских салонах, а после чтения ему иногда собирали деньги (как бы “шапка по кругу”). У Канегиссеров меня поразило, как спокойно, величаво, без смущения он к этому относился, с каким достоинством принимал деньги – будто делал одолжение. Лулу как-то сказал Осип Эмильевич, что главное, на чем держится мир, – это искусство, поэзия, культура. А толстосумы обязаны меценатствовать. Принимать от них деньги нисколько не зазорно. Долг одних – давать, долг других – брать. Лева, тот прямо говорил: “Мандельштам оказывает мне честь, что берет у меня деньги”.

Я смотрела на молодых Канегиссеров с их выкрутасами, великосветскими претензиями, нервной утонченностью (Сережа говорил “породистой утонченностью”) и думала: “Не только особняк тут в вычурном стиле ложного барокко, но и люди”. Лева мог преспокойно произнести пошловатую фразу: “Такой-то слишком нормален и здоров, чтобы быть интересным”. Поза, рисовка, кокетство? Допускаю. Но по тому, кого человек из себя изображает, кем он хочет казаться, тоже можно судить о его сути. Монологи Левы о зове плоти, о свободной морали, о праве на святую греховность иногда мне напоминали такую дешевку, как “Ключи счастья” Вербицкой. Лулу делила всех на людей “нашего круга” и “не нашего круга”. Помню ее излюбленные словечки “вульгарно” и “плебейски”, которые она произносила, морща нос. Сережа свысока осуждал тех, кто увлекается футболом, греблей, плаванием, говорил, что футбол – это “для

кухонных мужиков”. Он тоже не симпатизировал нормальным и здоровым.

Живя в Петербурге, Канегиссеры приезжали в Одессу. Лева, изломанный и изысканный, казался настоящим петербургским пресыщенным снобом. Он старался походить на героев Оскара Уайльда. Но это не было у него естественным. Нет, он себя под это подгонял. Надо сказать, что со мной, с нашей компанией он держался сравнительно нормально, без поз и фраз, потому что мы его донимали насмешками. Но стоило показаться чужому, и он не мог двух слов в простоте сказать, строил из себя ужасного развратника, декадента, бог знает что.

Он любил ходить с тростью, что у молодого человека выглядело манерно, на ходу вертел бедрами. Вера Инбер говорила, что у нее от его походки делается морская болезнь.

Помню, мы шли с Левой по Дерибасовской и неприужденно болтали. И вдруг идет моя тетка Женя Брик, известная собирательница старинного фарфора, дама с претензиями. Лорнетка, собачка. Он стал оригинальничать, говорить дико циничные вещи, она краснела и бледнела. Я после ее ухода сказала: “Лева, ну, зачем ты так вытрющиваешься? Нашел над кем издеваться”. Он: “А зачем она такая мещанка?”

Сережа, тот, как я уже сказала, учился на юридическом, считался очень умным и способным. Типичный белоподкладочник, он вращался среди так называемой золотой молодежи (Леву больше тянуло к богеме). Все считали, что Сережа никогда не влюбится, не женится. Он ни за кем не ухаживал, был очень сдержанным человеком. В свои 22 года рассуждал, как старик. И вот одесситка Наташа Цессарская... Я ее знала с детства, по даче. Она училась в гимназии с моей сестрой Шурой. Ее отец работал инженером в иностранной фирме, жили они хорошо. Она была необычайной красавицей. Овальное, немного смуглое лицо, золотистый оттенок кожи, огромные карие, чуть прищуренные глаза с загнутыми ресницами, каштаново-золотистые волосы, прелестный рот с мягко очерченными губами. Вид томный, романтический, а на самом деле милая веселая девчонка. В нее был влюблен Давид Брун, медик, ученый, которому прочили большое будущее.

Наташа и Сережа Канегиссер, как нам казалось, не обращали друг на друга внимания. И вдруг в один прекрасный день я услышала: “Сережа женился на Наташе и увез ее в Петербург“. Все только руками разводили – когда успел? Сложили шуточный стишок: “Не напрасно Канегиссер пред Наташей метал бисер”. Родители Наташи были и польщены этим браком, и как-то непонятно встревожены.

В 1915 году я приехала в Петербург и нашла Наташу очень странной. Канегиссеры ее хорошо встретили, были в восторге от ее красоты, разодели, как куклу, увешали драгоценностями, но она показалась мне одинокой, не очень счастливой, была молчаливой, замкнутой; ее радости, ее дружбы остались в Одессе, ее смех – тоже. В этой среде она выглядела чужой. Помню, на одном благотворительном базаре она взяла два лепестка роз и налепила их себе на губы – никто не мог пройти мимо и не восхищаться; Сережа стоял рядом и гордился. Она могла оставаться так с лепестками очень долго, потому что теперь всегда молчала.

А между тем в петербургском свете Наташа имела большой успех. Художники “Мира искусства” приходили от нее в восторг, она позировала Сомову для какой-то не то маркизы, не то Коломбины. Гумилев написал ей в альбом пародию на свою собственную строфу:

СЕРГЕЮ КАНЕГИССЕРУ

И Наташу едва обнаружа,
Он такой сотворил пируэт,
Что посыпалось золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет.

У Канегиссеров по-прежнему был салон. Читали стихи. Рассказывали литературные анекдоты. Вот один из них. На каком-то банкете поэт Балтрушайтис сидел рядом с Максимом Горьким. Они были незнакомы. К концу банкета Балтрушайтис решил представиться и назвал соседу свою фамилию. Горький ответил, окая: “Спасибо, я уже откушал”. Ему послышалось: “Угощайтесь”. А вот еще анекдот. Мандельштама пригласили в особняк богатого негоцианта читать стихи. Гости плохо слушали, болтали, хозяйка то и дело прерывала чтение: “Извините, жарко, я позвоню в сонетку, пусть нам принесут мо-

роженое... Извините, позвоню в сонетку, пусть принесут лимонад”. Мандельштаму это надоело, он сказал: “Я люблю сонет, но терпеть не могу сонетку”. И ушел.

Слышала я в доме Канегиссеров много эпиграмм, большую часть, конечно, забыла. Кое-что осталось в памяти.

Доктор Дапертутто,
Он там и тут.

Доктор Дапертутто – тогдашний литературный псевдоним Мейерхольда. Он был в те годы очень популярен.

Важно родиться от Эмилия,
Как Всеволод, как Осип.
И тогда буду Музе милым я,
Не буду ей несносен.

Всеволод – Мейерхольд, Осип – Мандельштам, оба они Эмильевичи. Помню еще эпиграмму по поводу какой-то выставки художников.

Футуристы, лучисты, примитивисты...
Воистину мир стал и дик и неистов!

Потом в Одессе ходили разные слухи насчет петербургского жителя Наташи. Кто-то говорил: Сережа, оказывается, такой же гомосексуалист, как его брат, а красавицу жену взял “для вывески”. Да мало ли кто что говорит? Я старалась не прислушиваться.

...Март 1917 года. Известие о Февральской революции, красные банты, улыбающиеся лица. Все мы были веселы, ждали только роз впереди, с восторгом бегали на митинги.

На светлом фоне особенно выделилось одно черное событие. Вернулась в Одессу Наташа Канегиссер – неожиданно, без телеграммы. Позвонила мне по телефону ее мама: “Приходите скорее, приехала Наташа, у нее большое горе”. Я побежала на Преображенскую улицу. Увидела ее – худая, бледная, необыкновенно красивая, прическа, как теперь говорят, а ля Бабетта, волосы затянуты в высокий узел на темени, вся в черном. Черное платье с длинным узким вырезом к плечам очень ей шло. Она сказала только: “Сережа застрелился”. И не стала ничего объяснять.

Никто в Одессе не мог понять, что стряслось с Сережей, таким самоуверенным, победительным, эгоистичным. Неужели так подействовала революция? Позднее приехал из Петербурга информированный человек и объяснил: “Был в списках осведомителей полиции. Боялся, что про это узнают”. Оказывается, Сережа заигрывал с революционным подпольем, в то же время донося на революционеров (кажется, главным образом, на эсеров). Денег ему не требовалось, богатые родители ничего не жалели для детей. Думаю, что при своей испорченной натуре он находил удовольствие в такой двойной жизни. Или его полиция принудила, чем-то шантажируя?

После Октябрьской революции связь с Петербургом прервалась. Но один общий знакомый, приехав из Петербурга, рассказывал о Канегиссерах: отца сняли с должности, никаких лакеев и балов, самоубийство Сережи подкосило стариков. Лулу рвет и мечет, хочет уехать за границу, старикам трудно решиться. Живет у них Савинков, имеет большое влияние на Леву. Савинков вообще обладал огромной силой воздействия, подчинял себе людей.

Потом дошла до нас весть – убит Урицкий. К индивидуальному террору в нашей среде относились как к глупости. Эсеры? Да, убийство приписывали им. Ну, убит какой-то комиссар, я лично эту фамилию слышала впервые. И вдруг выясняется – убил Лева Канегиссер. В Одессе, где его хорошо знали, все ахнули. Мальчишка, далекий от всякой политики, эlegantный эстетствующий сноб, поэт не без способностей – что его могло на это толкнуть? Не Савинков ли поработал? Существовала версия, что Лева считал своим долгом в глазах лидеров эсеровской партии искупить преступление брата, спасти честь семьи.

И как хладнокровно действовал! Мне рассказывали: убил где-то на собрании или на митинге, вышел, сел на велосипед и доехал до английского консульства, где и укрылся. Но английский посол затем его выдал, по ситуации, видимо, иначе поступить не мог. Убийца сделал ошибку, когда бросил на улице у консульства велосипед, по велосипеду узнали, где он.

Старики Канегиссеры пустили, говорят, в ход все свои связи, но тщетно. Держался их сын, по слухам, до последней минуты спокойно и твердо.

Лева с тростью денди, с похабщиной на сардонически изогнутых губах – и террор. Лева – и политическое убийство... Неужели так далеко могли завести кривляние, привычка к позе? От игры в порочность в духе Дориана Грея – к убийству?

После расстрела Левы Канегиссера старики были совершенно убиты. Такие мальчики... выдающиеся, блестящие... столько возлагалось на них надежд, такие рисовались радужные перспективы... Через некоторое время старики уехали за границу вместе с Лулу. Счастье, благополучие, почет – все осталось позади.

Знакомый работник советского торгпредства видел потом Лулу в эмиграции, толстую, огрубевшую. Родители умерли, она неудачно вышла замуж и разошлась с мужем, очень нуждалась. Все пошло прахом. Таков конец династии Канегиссеров.

Два слова о судьбе Наташи, вдовы Сережи, вернувшейся в Одессу. Дава Брун по-прежнему обожал ее, был слепо в нее влюблен. Он даже и не думал уезжать из России, но Наташа поставила условие: выйдет за него замуж, если он тут же увезет ее от ее прошлого. Как она добиралась в Париж, не знаю, а он нелегально перешел границу с контрабандистами. Стал во Франции серьезным ученым, много обещал, но рано умер. Ланжевен, встретившись позднее на каком-то международном конгрессе с профессором Бруном, отцом Давы, сказал ему: “Франция благодарит вас за вашего сына”. До меня дошли слухи: Наташа умирала ужасно, одинокая, у нее была болезнь Паркинсона, взрослый сын, живший в другом городе, нанял ей сиделку, посылал деньги, не бывал, да же на похороны не приехал.

2. Надпись на книге

В 1930–1931 годах я, школьница, начала собирать свою библиотеку русской поэзии XX века. Букинистические книги этого рода (от раннего Брюсова до футуристов и имажинистов) были обычно навалены на полу в углу; вы рылись в такой куче, отобрав книгу, подходили к продавцу, он писал цену (можно было поторговаться). В книжных магазинах центра (Кузнецкий мост, проезд Художественного театра) попадалось некоторое количе-

ство книг с автографами авторов, дружескими надписями, обращенными к Мандельштаму. Продавцы говорили: “Сам принес”. И еще призывали: “Заплатите подороже, ведь процент идет ему”. Видимо, книги тогда не покупали, а брали на комиссию, платили потом (подробностей уже не помню). Книги поэтов с посвящениями, очевидно, накапливались в доме Мандельштама и в минуту жизни трудную служили подспорьем, выручали.

Другие писатели вырезали обращенные к ним надписи, выдирали даже целые листы (попадались такие экземпляры), но Мандельштам, похоже, не стеснялся, отдавал дареные книги как есть.

У меня было несколько таких книг с посвящениями Мандельштаму, но сохранилась лишь одна. Рюрик Ивнев на своей книге “Солнце во гробе” (1921 год, изд-во “Имажинисты”) сделал следующую надпись: “Дорогому Осипу Эмильевичу в память украинской эпопеи с братской любовью. Рюрик Ивнев. 26.11.21. М.”

Рюрик Ивнев был долгожителем: я уже в семидесятых или восьмидесятых ему звонила, хотела встретиться, потолковать о его отношениях с Мандельштамом. Женщины из семьи Ивнева отвечали, что в Москве грипп, они никого к старику не пускают. Позвонила раз, другой, третий – с большими интервалами. Кончилось тем, что мне ответили: “Он умер”. Так я и не узнала ничего об “украинской эпопее” двух поэтов, за что себя корю.

Что ж, пусть в отношениях Мандельштама и Ивнева разбираются будущие исследователи.

3. Кто же такой Гибер?

Мемуары Надежды Яковлевны Мандельштам имели широкое хождение в самиздате, встречались в брежневские годы достаточно часто. Впервые я прочитала их в бледной машинописной копии на папиросной бумаге. И тогда же выписала несколько абзацев из главы “Стеклянный колпак” (второй том мемуаров), которые меня очень заинтересовали.

«На службу в газету “Московский комсомолец” Мандельштам поступил осенью 29-го года. Дотянул он там до

февраля 30-го года. В декабре приблизительно он начал диктовать “Четвертую прозу”.

В “Московском комсомольце” Мандельштаму платили так мало, что после получки денег хватало всего на несколько дней. У нас обеспечивали “своих” не зарплатой, а неучитываемыми вещами – пакетами, кулками, конвертами, кулечками, распределителями. Иногда Мандельштама принимали за “своего”, и он тоже получал кулек. С 30-го до ареста в мае 34-го мы получали продукты в пышном распределителе, где у кассы висело объявление: “Народовольцам вне очереди”. В дни “Московского комсомольца” мы жили на зарплату. Редакция помещалась на Тверской, то есть на улице Горького, в пассаже. Все вместе называлось “комбинатом”, а управлял им “лихач-хозяйственник” Гибер. Струве пишет в примечаниях, что ему не удалось выяснить, кто такой Гибер. Гибер и есть Гибер, просто завхоз или коммерческий директор с лихим воображением. Структура комбината была действительно непонятна и таинственна. Он каким-то образом распространялся на весь пассаж, а в него входила редакция газеты, а также театрик и ресторан. Вероятно, еще что-нибудь, но нас это не интересовало. В ресторане сотрудников охотно кормили в долг, а потом вычитали долг из зарплаты. Обедать я ходила в пассаж...

Вся толпа ходила обедать в ресторан, и все обедали в кредит. Вечером шли развлекаться в театрик. Мы однажды видели забавный спектакль про мясника, страшного кавказца с усами, который рубил мясо и отпускал шутки в стиле эпохи. В мяснике нам почудился некто, чье имя уже стало всеобщим достоянием».

Тут кое-что не очень достоверно. Объявление это из популярного анекдота, такого в действительности, конечно же, быть не могло (в анекдоте лучше: “Цареубийцам повидло вне очереди”). Конверты с дополнительными деньгами давали ответственным товарищам не тогда, а много позже, при Брежневе (чтобы ответственный товарищ мог с чистым сердцем называть сумму своей мизерной зарплаты). Но я хочу говорить не о мелочных просчетах, которые бывают у каждого, кто пишет воспоминания. Хочу говорить о Гибере.

Струве не удалось выяснить, кто такой Гибер. А мне фамилия показалась странно знакомой, связанной с ка-

кими-то давними событиями, событиями моего отрочества. Я стала вспоминать – и вспомнила!

Мой отец – театральный режиссер, драматург, юморист Виктор Типот – осенью 1928 года основал Театр Обозрений Дома Печати. Отец был очень предан идее создания политического, сатирического театра и неоднократно предпринимал такие попытки (к середине тридцатых это стало уже невыносимо, обстановка ожесточилась: но в 28-м году еще можно было попробовать).

Первый сезон 1928–1929 новорожденный Театр Обозрений играл в маленьком зале Дома Печати, клуба московских журналистов, а на второй сезон перешел в большой, хорошо оборудованный зал (там ныне театр имени Ермоловой, – Тверская, 5). Этот зал на 800 мест являлся клубом газеты и издательства “Рабочая Москва”. Надо сказать, что “Рабочая Москва” была в те годы очень популярной и влиятельной столичной газетой, у нее было свое издательство, при ней существовали другие газеты, например “Московский комсомолец”. Все вместе называлось комбинатом. Перебравшись на Тверскую, театр стал именоваться Театром Обозрений “Рабочей Москвы”.

Это был острый политический театр, смело берущийся за современную тематику, откликающийся на злобу дня. Достаточно сказать, что одно из обозрений называлось “Приготовьте билеты!” и было посвящено... чистке партии. После предъявления билета (понимай – партбилета) кого-то пропускали на корабль, уходящий в дальнее плавание, кого-то – нет, кто-то проникал по блату. Конферировали, вели спектакль два актера – один в гриме “под Троцкого” (ролик на левой ноге) и другой в гриме “под Бухарина” (ролик на правой ноге). В каком-то обозрении, помню, была сцена, где выстроившиеся в очередь у прилавка обезьяны пели: “Ах, без хвоста жизнь пуста, мы жить не можем без хвоста!” Возникали постоянные конфликты с цензурой, она “чистила” текст, снимала эпизоды, реплики, куплеты.

...Зима 1929–1930. Я школьница шестого класса. Отец приходит домой (после репетиции, после спектакля) и проклинает на чем свет стоит какого-то хозяйственника Гиберы, имеющего известную власть над театром. “Чтоб его черт побрал! Политика ему не нужна, нужна чистая развлекательность. Чтобы приятные песенки с

пританцовыванием, красивые женщины, а на них поменьше надето... Установка на случайного зрителя с Тверской, на обывателя, которому ни к чему серьезные проблемы. Гиберу наплевать на качество, на хороший вкус, ему подавай рыночный ходовой товар, ширпотреб”.

Какую именно должность занимал Гибер? Директора издательства, директора комбината? Замдиректора по хозяйственной части? Главного администратора? Этого сейчас уже и не установишь. Так или иначе он являлся фактически хозяином зала и вмешивался в дела театра, предъявлял свои требования. В его руках сосредотачивались средства, всякие житейские блага, “лихач-хозяйственник” был реальной силой, способной подмять творческих людей.

И вот, оказывается, распределители, пайки, “кулечки” умелого “доставалы” Гибера сыграли положительную роль в жизни неблагоустроенного Мандельштама. Забавный парадокс эпохи! Любопытный зигзаг истории! Обычно гиберы приносят искусству, литературе только вред: отрадно, если от них может быть какая-то польза Поэту и Поэзии.

Но мой отец воевал с Гибером нещадно. И, конечно, проиграл. Воспользовавшись какими-то материальными трудностями коллектива, хозяйственник взял театр “на баланс”, “на дотацию”, крепко зажал вожжи в своих руках. Отец ушел, театр еще какое-то время влачил довольно жалкое существование, утратил боевитость, остроту, интеллектуализм, потерял связи с интересными авторами. В зале стали крутить кино, а актеры для заработка что-то такое незамысловатое “представляли” перед сеансами. Понемногу ушли все ведущие актеры (Тенин, Панова, Зеленая, Милов и др.), театр распался, прекратил свое существование.

У нас дома долго висела афиша, где крупными буквами было анонсировано кино, а мелкими – выступления актеров перед сеансами. На ней кто-то нарисовал могильный холмик с крестом и фигуру человека, лопатой подсыпавшего землю. Как-то, помню, пришла Рина Зеленая и губной помадой написала под фигурой человека: “Гибер”. Может быть, из-за этой надписи я так хорошо запомнила фамилию Гиберова?

В своей книге “Эстрадный театр: миниатюры, обозрения, мюзик-холлы” театровед Е. Уварова, не называя Гибера, пишет о том, как в помещении “Рабочей Москвы” тяжела была для театра “творческая и хозяйственная зависимость от людей, далеких его интересам”.

Для меня было, разумеется, полной неожиданностью то обстоятельство, что Мандельштамы проводили вечера в отцовском театре, что он любил такого рода зрелища.

Еще одна неточность Н.Я. Мандельштам. Как можно было каждый день ходить в театр развлекаться? В театре одновременно (чередуюсь) шли две, три, максимум четыре программы. Что же, ходили снова и снова смотреть одно и то же? В это как-то плохо верится.

Сцены с грузином-мясником не могу припомнить. Но хочу сказать вот что: в труппе был актер Хонели, грузин с черными усами. Он любил в эпизодах появляться в кавказском обличи, надевал черкеску с газырями, бурку, папаху, говорил, если нужно, с грузинским акцентом. У меня где-то сохранилась его сценическая фотография в таком виде. Не он ли исполнял роль мясника, шутки которого запомнились Мандельштамам?

4. 14 марта 1933 г.

Вечер Осипа Мандельштама

...Предвкушаю удовольствие – у меня два билета в Политехничку на четырнадцатое, Мандельштам будет читать свои стихи (вступительное слово Эйхенбаума, который специально для этого приезжает из Ленинграда). Мой любимый, самый любимый поэт! “Стихотворения” его мне вместо Библии, как бы ни устала за день – все равно открываю, читаю, хотя, казалось бы, зачем читать? – знаю уже все (почти все) наизусть. “Золотистого меда струя из бутылки текла так тягуче и долго...”

А все-таки боязно – увижу человека, человек наложится на стихи и будет мешать.

...Немного опоздала (минут на пятнадцать). Эйхенбаум уже начал. С момента моего прихода он разговаривал еще час двадцать минут – сухим частым говорком, невыразительно (как горох о железо) и вдобавок с большим обилием специальных терминов, так что нить его рассуждений иногда от меня ускользала. Почти час говорил о

современной поэзии вообще, говорил жадно, как будто долго не имел публики и наконец дорвался.

Вот коротко суть его выступления. Было: Маяковский и Есенин. Стало: Пастернак и Мандельштам. Первые два были полярны, они представляли собой два диаметрально противоположных направления. Между Пастернаком и Мандельштамом соотношение значительно более сложное, здесь такого резкого, контрастного противопоставления нет, но тем не менее это явления разного порядка.

Сейчас в нашей поэзии кризис, застой, в частности кризис лирики. Отмирают целые жанры. Раньше все было просто и ясно. Маяковский сделал блистательные первые шаги в области создания советской оды, в которой со свойственным ему умением смешал грандиозное с мелким, риторическое с космическим. Есенин развил элегию; продолжателями песенно-романсной линии в поэзии явились Сельвинский, Асеев. Тихонов дал образцы высокохудожественных баллад на современном материале.

Теперь мы не имеем подобной картины. Ода и элегия умерли, причем гибель этих жанров фатально совпала с гибелью их представителей. Получилось, что ода и элегия себя не оправдали. Оду мог поднять только талант Маяковского. Есенин был последним элегическим поэтом того периода. Надо отметить, что его лирическое “я”, — ибо всякая лирика построена на “я” поэта, — это “я” поэта Сергея Есенина было невероятно сужено, снижено до простой автобиографичности. Хорошо как-то сказал Тынянов, что стихи Есенина так интимны, что читаются как дружеское письмо, полученное по почте.

Кто же в настоящий момент может возродить лирику, лирическое “я” поэта в первоначальном расширенном виде? Только Мандельштам. Неслучайным было молчание Мандельштама все эти годы, его переключение на прозу (разбег перед поэтическим прыжком), и вот сейчас мы видим, что он вернулся к поэзии, пишет много и на очень современные темы (советская Москва и т. д.). И это тогда, когда мы уже окончательно похоронили акмеизм, его ветви.

Поэзия Мандельштама была и есть насквозь филологична. У него замечательное поэтическое стилистическое чутье, чувство даже не на слова, а на оттенки слов.

Его отличительная черта, его своеобразная прелесть заключается в том, что он умеет необычной расстановкой слов придать им смысл не общеупотребительный, не избитый, а такой, который вызывает у читателя новые, очень свежие образы и ассоциации. При всем своем филологизме Мандельштам ради этого свежего звучания намеренно, почти программно уходит иной раз от русского синтаксиса. У него слово “штаны” неожиданно звучит как латынь. Словозвучание многих стихотворений – как будто не русский язык, нечто от Рима, от языков вымерших культур.

Не то у Пастернака. Пастернак пришел в литературу в качестве молодого футуриста, пришел от “Центрифуги”. Он и является продолжателем этой линии. Впрочем, его творчество также тесно связано со славными традициями младших символистов.

Пастернак насквозь предметен. Предмет, вещь – вот мотивы его творчества. А в стихах Мандельштама мы видим тень предмета. Для Пастернака характерен вихревой стиль, поток, из которого вырастает все тот же мир вещи. Если творчество Пастернака мы можем назвать атлетическим, то процесс творчества Мандельштама порождает представление о некой химической или даже скорее алхимической лаборатории, где производятся сложнейшие опыты над словом.

У Мандельштама предельное расширение лирико-драматического “я” (Эйхенбаум долго развивает эту тему). Оно, это расширение, позволяет провести аналогию между Мандельштамом и Пастернаком.

“В заключение хочу сказать то, что у меня как-то выпало из середины. Творчество Мандельштама показывает, что биологические темы вовсе не уведут художника, мыслителя от тем социальных”. Подтверждение тому – биография Энгельса.

Вышел Мандельштам. Дружные аплодисменты – ведь почти все свои. Стоит, странно нагнув голову, не как бык (он тонок), а как козел перед изгородью. Весь с кризисной. Полуседая борода. Какой-то, пожалуй, немного патологичный. В нем что-то кликушеское. Манера речи – старый раздражительный школьный учитель обращается только к первым ученикам на первых партах, отдельные слова строго повторяет с разбивкой на слоги, подчеркивая ритм движением пальца.

“Ты кричишь, раздражаешься на собственный голос и еще пуще кричишь”, – говорит Шкловскому в “Письмах не о любви” женщина, которой он адресует свои письма. Эти слова целиком относятся к Мандельштаму. Ах, как он кричал на людское стадо, сбившееся в круглом деревянном загоне Политехнического... как кричал... Начал он так: “Я прослушал в замочную скважину речь Бориса Михайловича. Речь очень хорошая, но одна вещь обесценивает все ее достоинства”. И тут он минут тридцать пять (без преувеличения) говорил о том, что Эйхенбаум оскорбил Маяковского, что он не смел даже произносить его имени рядом с именами остальных (как нельзя, недопустимо сравнивать Есенина, Пастернака, Мандельштама с Пушкиным или Гёте). “Маяковский гигант, мы не достойны даже целовать его колени”. И все это в очень повышенном тоне, агрессивно, с пузырями в углах губ.

Затем он долго говорил о литературе, искусстве Запада, о великих классиках Ренессанса и последующих веков, о Данте, Шекспире... “Запад имеет перед нами то преимущество, что в его искусстве есть система, по существу являющаяся интуицией. Этому мы должны учиться у Запада”. Записала дословно – “система, являющаяся интуицией”.

Наконец взялся за стихи, начал читать скороговоркой себе под нос. Не дочел стихотворение, сказал: “Нет, я еще поговорю”. В зале смех. “Нам ведь лучше договориться до конца”. И сказал коротенькую умную речь о яфетической теории академика Марра и о языковых особенностях народов Закавказья. Осталось впечатление, что говорил знаток. “Пятнадцать лет назад с этой самой кафедры Валерий Брюсов прочел свое исследование о языках племен, населяющих Армению и Грузию. Мы все забыли об этом. Идите в Армению, идите учиться там чувству слова. В нашем... (немного запнулся, как бы припоминая) ...нашем СССР огромные природные богатства в области языковедения лежат нетронутые, никем не используются”. Очень хорошо сказал.

Зато стихи читал отвратительно – невнятно, себе под нос. Дальше пятого ряда уже нельзя было разобрать. Вместе с тем в его напевности и ритмическом покачивании чувствовалась влюбленность в каждую строфу. Стихи (насколько можно судить по услышанным обрывкам) сделаны блестяще. Читал вещь – длинную, которая на-

чинается словами: “Полночь. Москва...” И еще ряд незнакомых мне стихотворений (нет в однотомнике). Явно волновался. Часто во время чтения садился. Почитал, почитал – и устал. Ушел.

Прямо из публики, – он стоял у стеночки, – вышел Эйхенбаум и очень мило сказал несколько слов о том, что в замочную скважину речь бывает, очевидно, слышна с искажениями (зал захлопал), что он совершенно не понимает, чем так раздражил “дорогого Осипа Эмильевича”, что он, конечно, ставит Маяковского несравненно выше остальных поэтов периода двадцатых годов и что, если уж на то пошло, его, Эйхенбаума, скорее можно обвинить в пристрастии к футуризму, чем наоборот, поскольку он сам вырос из этого течения. Улыбался лукаво и умно, поблескивая очками. “Не хотелось мне говорить, но раз уж об этом зашел разговор, то приходится сказать, что в период развернутого наступления футуризма (поздний Леф) акмеизм свернул свои знамена, не сумел активно защищать свои позиции, не смог ничего противопоставить”. А кончил так: «Сейчас в кулуарах я слышал фразу: “Мандельштам настоящий мастер”. Не забывайте, что мастерство – термин ремесленный. Вот Кирсанов – тот мастер. А Мандельштам не мастер, о нет!» В зале смех, даже хлопки.

Мандельштам тоже язва. Говорил о необходимости учебы у классиков и мимоходом нанес удар. “Вот говорят, что он у Шекспира учился, когда свои пьесы писал, этот... ну, как его... такой драматург... Ах, да, Афиногенов. А мне думается, что он Шекспира даже никогда не читал”. Зал ахнул, очень уж была неожиданной эта колкость в речи Мандельштама.

После реплики Эйхенбаума Мандельштам опять стал читать стихи. Захлебывался словами, беспрерывно курил, пил воду, снова пускал дым. (Я хотела крикнуть: “Бросьте курить, неуважение к публике!” – да пожалела старика. А так на губах и сидело.) Слышно было плохо, сидевшие позади вставали, проходили тихонько вперед, слушали стоя. Я, зажата в самой середине ряда-полукружья, пробираться по чужим ногам не решилась. Из знакомых мне стихотворений читал “Век” (в очень измененном и значительно дополненном виде по сравнению с изданием 1928 года). Еще какие-то стихи, новые. Мне послышалось, что новые вещи колючие, шершавые,

идут не от акмеистической радостной ясности ранних стихов, но от переходной поры 1921–1925 годов, от “глубых звезд” и “соли на топоре”. Эх, прочитайте бы глазами!

...Хочется добавить: и Эйхенбаум и Мандельштам – оба какие-то маленькие, пыльные, как будто их долго держали в нафталине, потом вынули, потрясли и посадили на эстраду Политехнического: “Сиди, миленький, и разговаривай”. Они и разговаривают себе. Узенькие такие оба, как язычки.

...А зал-то наполнился еле-еле до четырнадцатого ряда! Больно за Мандельштама и стыдно за публику. Вспомнила (и сейчас нашла в своих тетрадах) вечер от 23 октября прошлого года Ильи Сельвинского в той же Политехничке, когда публика буквально ломилась, у подъезда каждого входившего умоляли: “Продайте билетик!”, эстраду и проходы густо облепили люди. Не хочу обижать Сельвинского, он неплохой поэт, смелый экспериментатор, но все-таки... Да, смешная штука слава.

...Ну и что? Да, мне немного досадно было тогда: разбился мой глиняный кумир, мудрый старец с ясными глазами и высоким челом, вззирающий на окружающее со спокойствием мыслителя, который выше мелочных дрызг мира сего. Но все же и такой его облик, такой склад характера – нервный, трудный, суматошный, – тоже что-то прибавляет к моему пониманию “Камня”, “Триствий” и всего остального. Пусть будет, каков есть. Разве это так важно? Важны стихи. Они остаются, текут, они со мной и во мне. “Золотистого меда струя...”

14–16 марта 1933

О СЕБЕ – ТОГДАШНЕЙ. Ей шестнадцать лет. Стрижена под мальчика, в юнгштурмовке с ремнем и портупеей. Работает в многотиражке первой дистанции пути Курской железной дороги “На рельсах”. Увлекается поэзией. Самостоятельна, самоуверенна (часто излишне). Решительно и безапелляционно судит обо всем на свете, авторитетов для нее не существует. Думает подавать заявление на отделение критики Вечернего литературного рабочего университета, или ВЛРУ, который только-только начинает организовываться в Доме Герцена на Тверском бульваре.

5. Герой “Египетской марки”

Валентин Парнах

Зима 41–42-го, первая военная зима. Пожилые писатели и семьи писателей-фронтовиков эвакуированы в Татарию, в Чистополь на Каме. Железной дороги нет, летом сообщение было по реке, зимой почту и газеты доставляют самолетами (неаккуратно, в зависимости от погоды), призывники уходят в Казань, держась за веревку, привязанную к задку саней. Необычайно чистый морозный воздух, вдоль улиц высокие валы белейшего снега, за которыми к концу зимы едва видны шапки рослых прохожих (снег сгребают в валы, но не убирают). Домики одноэтажные с мезонинами, дымы из труб устремлены прямо вверх, здесь часто зимой полное безветрие.

Столовая, где отпускают на дом готовое питание для детей писательской колонии, живущих в семьях (большинство – в детском саду или школе-интернате). Вахтером у дверей (на самом сквозняке) сидит маленький, легкий и сухонький старичок, поверх потрепанного пальто у него повязан крест-накрест платок, болтаются уши шапки-ушанки. Старичок смотрится как кучка серого тряпья. Он приглядывает за порядком, не пускает посторонних, нервно и раздражительно ругается с местными мальчишками, которые норовят вторгнуться на запретную территорию, ухватить ломоть хлеба, кусок сахара, еще какую-нибудь немислимую ценность. В высоком голосе старичка, когда он сердится, проскальзывают визгливые ноты.

Это поэт Валентин Парнах. Иногда в спокойные минуты я с ним разговариваю, он рассказывает интересные вещи. У него необычная биография. В дореволюционные годы жил в Париже, фигурировал как поэт и эстрадный танцор, страстно увлекался тогдашней новинкой – джазом, ритмами джаза, негритянскими танцами, воспевал джаз в стихах. В 1919–1920 годах, все еще оставаясь в Париже, выпускал там книги стихов с иллюстрациями Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, дружил с Пикассо, который нарисовал его портрет. Вернулся в Россию Парнах, кажется, в 1922 году.

Мандельштам любил Парнаха, находил, что они похожи, называл его “мое альтер эго”, “мой принц Викто-

рин” (это, по-моему, из “Элексиров дьявола” Гофмана, где принц Викторин является как бы двойником монаха Медарда). Пожалуй, Парнах и в самом деле немного похож на Мандельштама – не только ростом и щупловатой фигурой, мелкими чертами лица, но и суетливыми движениями, торопливой взволнованной речью. Если верить Парнаху, то Мандельштам вывел именно его в “Египетской марке”, только фамилия слегка видоизменена. Мандельштаму хотелось, чтобы фамилия была близка настоящей, но не идентична. «Он позаимствовал для меня фамилию поэтессы Софьи Парнок из группы “Лирический круг”. Эта фамилия Мандельштаму очень нравилась, он говорил, что она округленная, замкнутая в себе, как змея, которая держит свой хвост во рту. И еще напоминает о прекрасном звучном слове “парнокопытные”. У Мандельштама бывала влюбленность в фамилии, первоначально он даже собирался назвать “Египетскую марку” иначе – “Парнок” – по фамилии героя».

Сидит старенький вахтер. И никому нет дела до его прошлого, до парижских успехов, до дружбы с Пикассо и Мандельштамом... Кажется, это так далеко от сегодняшнего дня, от фронтовых сводок, которые каждый из нас напряженно слушает у черной радиотарелки при свете керосиновой лампы или фитилька, погруженного в масло. Старичок-вахтер, как и все мы, тоже говорит о сводках. И еще – с горечью – о судьбе любимого города Парижа, оккупированного гитлеровцами. Там не до джаза, не до поэзии.

Смешное. Был в Чистополе поэтический вечер, выступали эвакуированные московские поэты – Пастернак, Петровых, выступил и Парнах. Я сидела в зале. Мой сосед, незнакомый пожилой чистополец, сказал добродушно:

– До чего же эта литература въедливая, заразительная. У них вышибала из столовки – и тот стал рифмовать!

6. Не вышло

Михаил Рудерман

Он, старый поэт-песенник, постоянно бывал в Центральном доме литераторов. Бродил как-то немного не-

прикаянно по залам и лестницам, шаркая ногами, — перекинется словом с этим, постоит с тем. Однажды я подошла к нему.

— Михаил Исакович, мне говорили, что вы одно время жили с Мандельштамом в одной коммунальной квартире.

— Да. Во флигеле, который примыкает к Дому Герцена.

— Вы с ним разговаривали?

— А как же. Часто сидели вечерами на кухне, калякали.

— Вы не могли бы припомнить что-нибудь из его разговоров с Вами? Я бы записала. Я очень интересуюсь Мандельштамом и всем, что с ним связано.

Его кто-то позвал. Он отошел. Я переждала некоторое время и опять нашла его. Он невидящими глазами смотрел на офорты какой-то выставки, разместившейся в ЦДЛ.

— Так как же насчет Мандельштама? — напомнила я.

Он внезапно вспылil. Закричал с бессильным раздражением:

— А что это вы так интересуетесь Мандельштамом? Почему это я вам обязан рассказывать о Мандельштаме? Вы бы поинтересовались мной. Я как-никак автор песни “Эх, тачанка-ростовчанка...”, всесоюзно известной...

И ушел, шаркая подошвами.

7. Мелочи

Рассказывали мне об экспромте Мандельштама. В разговоре хвалили бюст какой-то дамы. Мандельштам выдал двустиишие:

У ней великолепный бюст.

Однако холоден и пуст.

В данном случае он перефразировал известную давнюю эпиграмму. Она звучала так:

К БЮСТУ НИКОЛАЯ I

Оригинал похож на бюст.

Он так же холоден и пуст.

За достоверность рассказа об экспромте Мандельштама ручаться не могу.

В начале тридцатых существовал такой анекдот, связанный с Мандельштамом:

“ – Ну, как там у молодых поэтов?

– Сплошные мандельштампы и пастернакип”.

Вариант вопроса: “– Ну, как там в поэзии?”

Еще ходила эпиграмма, я бы сказала, с микробиологической окраской. Эпиграмма эта не высмеивает поэта, а возвеличивает его:

Бог крикнул патетически:

“Я создал новый чистый штамм

Культуры поэтической.

Название штамма – Мандельштам!”

Несомненно перекликается с поэзией Мандельштама, с его образом века-волкодава крамольное стихотворение, которое я записала в начале пятидесятых, в глухие годы позднего сталинизма:

Век-волкодав, он прав или не прав?

Пора признать нам наконец:

У века-волкодава странный нрав.

Щадя волков, дерет овец.

1980-е годы

¹ Хацревин З.Л. (1903–1941) – писатель, хороший знакомый моих родителей, погиб на фронте.

² Фрумкин А.Н. (1895–1976) – физикохимик, советский академик с мировым именем. Друг детства моей мамы. Мальчик с выдающимися способностями интересовался только наукой, был погружен в книги и опыты, не занимался спортом, не участвовал в играх и проделках подростков. Его называли “тестообразным” или “басеобразным”. Бася (может быть, Басов?) – полулегендарный гимназический товарищ брата моей мамы, который не умел плавать и грести (это в Одессе-то!), не играл в футбол. “Тестообразный”, “басеобразный” – семейные словечки Блюменфельдов, означают что-то вроде “мямля”, “рохля”. Мама мне говорила: “Я увлекалась блестящими рассказами Шуры Фрумкина о химических процессах, под его влиянием пошла на химический факультет университета. И все-таки в юности для меня и моих друзей тот, кто не мог ловко перелезть через ограду или попасть ракеткой по летящему мячу, казался каким-то недочеловеком. А если он при этом не умел сыграть, спеть, станцевать в нашем домашнем театре миниатюр или придумать для спектакля хорошую шутку, то окончательно терял шансы на успех в нашей компании”.

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ПОЭТЕ ОСИПЕ ЭМИЛЬЕВИЧЕ МАНДЕЛЬШТАМЕ

Прежде чем начать свои воспоминания об Осипе Эмильевиче Мандельштаме, я хочу в нескольких словах коротко остановиться на своей биографии, которая имеет некоторое отношение к моему рассказу.

Окончив Московский университет, я работала под руководством известного криминалиста, профессора Сергея Викторовича Познышева, читавшего курс криминальной психологии, и написала несколько работ о женской и детской преступности. К сожалению, они не сохранились, так как в 1938 году были конфискованы вместе с библиотекой моего мужа Бориса Михайловича Овчинникова, а после его реабилитации библиотеку мне не вернули, и только случайно сохранилась книга Познышева с дарственной надписью о нашей совместной работе.

В 1923 году я стала членом Центральной комиссии по улучшению быта ученых и начала получать за свои работы денежное обеспечение. Извещение об этом я сохранила как образец стиля того времени, даже в официальном документе.

Таким образом я получила возможность оказаться в санатории ЦЕКУБУ “Узкое”, где и познакомилась с Осипом Эмильевичем Мандельштамом и его женой Надеждой Яковлевной.

В основном в “Узком” отдыхали профессора с женами, чинными, тонными, благовоспитанными. Перед обедом полагалось переодеваться; дом был поставлен на очень фешенебельную ногу. В столовой стоял прекрасно сервированный стол с белоснежной скатертью. В центре его сидела элегантная хозяйка, задававшая тон и зорко следив-

шая за порядком. Еду подавали горничные в передничках и с нарядными наколками. Кормили вкусно, изысканно, разными деликатесами. Народу было немного, все сидели за общим столом, разговаривали мало, вполголоса, на разные умные темы. Скука была ужасная. Я тогда была молода, и подходящих собеседников у меня не было, но однажды за столом во время обеда я увидела новую пару, резко отличавшуюся от окружающей публики.

Ни тонности, ни чопорности в ней не было и помину. Мужчина громко говорил, жестикулировал, ел неопрятно, пользуясь невпопад столовыми приборами. Его дама молчала и явно смущалась от иронических взглядов профессорского общества. Она была некрасива, угловата, и лицо ее украшали только большие умные глаза. Была она значительно моложе мужа. Так же, как и мне в нарядных гостиных, где иногда пели и музицировали, ей тоже было скучно. Мы познакомились. Новая пара оказалась супругами: поэтом Осипом Эмильевичем и Надеждой Яковлевной Мандельштамами.

О поэте Осипе Мандельштаме я раньше почти не слышала, а стихи его никогда не читала. Познакомившись ближе, мы стали встречаться в Москве. В то время они жили на Тверском бульваре на первом этаже флигеля нынешнего Литературного института.

В бытовом отношении они были на редкость неустроенными: этому способствовало полное отсутствие каких-либо хозяйственных способностей Надежды Яковлевны; кроме того, она была порядочно неаккуратна: в комнате было грязновато, на полу валялись окурки (Мандельштам много курил). Почти полностью отсутствовала какая бы то ни было посуда. Ели и пили из чего попало и где попало на расстеленных газетах. Обстановки в комнате почти никакой не было. Из-за отсутствия стульев мы забирались на спальные матрацы, стоявшие на деревянных пеньках, укрывались одеялами, так как топили плохо, и, не обращая на это внимания, весело и оживленно подолгу болтали. Осип Эмильевич рассказывал нам о некоторых эпизодах своей жизни, иногда читал свои ранние стихи. Потом они получили в Нащокинском переулке двухкомнатную квартиру, но стиль в ней оставался прежним*.

* Там я встречала многих интересных людей, поэтов, писателей, журналистов. Чаще других приходили Георгий Чулков, Борис Пастернак и Ахматова, они были близкими друзьями Мандельштама.

Осип Эмильевич был очень разносторонним человеком: он интересовался живописью, скульптурой, не пропускал ни одной выставки и потом делился с нами своими впечатлениями, посещал симфонические концерты — его любимым композитором был Бах, — живо воспринимал разные научные открытия, проблемы психологии. Зная, что я занимаюсь криминальной психологией, пишу работу о женщинах-детоубийцах и часто бываю в Новинской женской тюрьме, где они содержались, он расспрашивал меня о тех типах, с которыми мне приходилось беседовать, и о причинах, которые заставили совершить их такое противоестественное преступление. После наших бесед он написал мне такой экспромт:

Не средиземною волной
И не Вальпургиевой жабой,
Я нынче грежу, сам не свой,
Быть арестованною бабой.
Увы, на это я готов
Заране с выводами всеми,
Чтоб видеть вас в любое время
Под милицейский звон оков!¹

По характеру Мандельштам был очень нервным, вспыльчивым, легко ранимым. Жизнь его была тяжелой, а ссоры с товарищами, которые не понимали его и устраивали против него настоящую травлю, доводили его до такого состояния, что он иногда терял над собой контроль. Однажды был такой случай: на одном литературном вечере какой-то малоизвестный поэт читал свои стихи, в которых больно уколол Осипа Эмильевича, и тот, не сдержавшись, неожиданно горячей папиросой поджег воздушный шарик, который держал в руках поэт. Раздался взрыв, переполох. Разумеется, такая выходка не вызывала к Мандельштаму симпатии и оценивалась не с лучшей стороны.

Свои стихи Осип Эмильевич не любил читать публично, и делал он это действительно плохо. <...>

Но дома, когда он охотно читал стихи своим близким, он совершенно менялся. Вспоминаю, как однажды он вышел из своего кабинета с каким-то вдохновенным и сияющим лицом и сказал мне: “Ольга Андреевна, хотите, я вам прочитаю сейчас мой новый перевод сонета Петрарки? Право, получилось недурно...” Но в это время я что-то весело рассказывала Надежде Яковлевне и отве-

тила довольно небрежно: “Потом, Осип Эмильевич, потом!” Как я теперь об этом жалею... Поэт немного обиделся и ушел.

Думая о судьбе Осипа Эмильевича Мандельштама, мне кажется, что его трудный и нервный характер сложился под влиянием тех тяжелых, я бы сказала, трагических условий жизни, которые выпали на его долю. Усложняло его жизнь вечное безденежье и неумение распорядиться изредка перепадавшими ему гонорарами за напечатанные стихи и переводы. <...>

Лучше всех к нему относились Ахматова и Пастернак, они часто встречались, и в трудную минуту он находил у них поддержку и добрый совет, но самым близким, самым драгоценным другом была его жена Надежда Яковлевна, делившая с ним все трудности и горести его жизни; она умела его успокоить, утешить, нежностью и лаской залечить душевные раны. <...>

В заключение я хочу привести его ранние стихи после посещения Екатерининского Дворца и прогулок по Пушкину:

На теле мраморных колонн
Следы толпы, идущей мимо.
Храм придорожный осквернен,
Но красота неосквернима.
Люблю я в зле свою мечту,
Уродство в жизни неизбежно,
И я целую красоту,
Бесстыдных слов касаясь нежно².

Москва, декабрь 1979

Текст воспоминаний печатается по копии, любезно предоставленной автором в 1981 году. Фрагменты, написанные на основе сведений из воспоминаний других мемуаристов, опущены и обозначены отточиями в угловых скобках.

¹ На это стихотворение Б.М. Овчинников написал шуточный стихотворный ответ, который был Мандельштаму известен.

² Источник текста этого стихотворения О.А. Овчинниковой остался неизвестен, оснований считать его принадлежащим Мандельштаму нет.

Подготовка текста и примечания С. Василенко

Галина фон МЕКК

“ТАКИМИ Я ИХ ПОМНЮ...”

Фрагмент из мемуаров

...Это случилось незадолго до мандельштамовской ссылки, когда небольшая горстка друзей поэта собралась вместе, чтобы обсудить, как можно ему помочь.

Борис Пастернак запаздывал. Его могли задержать разные обстоятельства, и мы не особенно беспокоились.

Наконец раздался звонок в дверь; Евгений Хазин, хозяин квартиры, где мы собрались, пошел открывать и вернулся с Пастернаком¹. Борис выглядел огорченным, взволнованным и нервным. “Со мной произошло нечто ужасное! – сказал он. – Ужасное! И я вел себя как трус!”

А затем Пастернак рассказал нам вот что. Сегодня утром, когда он сидел и работал, зазвонил телефон, и ему пришлось подойти. Незнакомый голос поинтересовался – кто у телефона, не товарищ ли Пастернак. Когда Борис ответил утвердительно, голос сообщил: “Подождите, сейчас с Вами будет говорить товарищ Сталин!”

“Я был в шоке!” – рассказывал Пастернак. Через некоторое время голос Сталина произнес с характерным грузинским акцентом:

– Это товарищ Пастернак?

– Да, товарищ Сталин.

– Какое Ваше мнение, как нам поступить с Осипом Мандельштамом? Что нам с ним делать?

Что? Наверное, не многие из нас могли бы очутиться лицом к лицу с диктатором, который вызывал страх у целой страны. Борис Пастернак не был бунтарем, как Мандельштам. Он был мечтателем, и он струсил. Грубое слово, но так и было.

Вместо того, чтобы просить за Мандельштама, Пастернак промышчал что-то вроде: “Вам лучше знать, товарищ Сталин”. В сталинском ответе звучала насмешка: “Это все, что Вы можете сказать? Когда наши друзья попадали в беду, мы лучше знали, как сражаться за них!” После этого Сталин бросил трубку...

¹ Разговор о Мандельштаме, который вели по телефону Сталин и Пастернак, описан многими современниками, начиная с Н.Я. Мандельштам и заканчивая Василием Гроссманом. Перед нами – еще одна его версия, плохо стыкующаяся с остальными.

Автор этой версии – Галина Николаевна фон Мекк (1891–1985), внучка патронессы Чайковского Надежды фон Мекк, дочь знаменитого инженера Н.К. фон Мекка. Хотя противопоставление бунтаря Мандельштама мечтателю Пастернаку едва ли правомерно, а оценка, выставляемая фон Мекк Пастернаку, едва ли справедлива (Ахматова и Н.Я. Мандельштам, например, считали, что в разговоре со Сталиным Пастернак вел себя “на крепкую четверку”), ее воспоминания все же представляют определенный интерес.

Сама Галина Николаевна, пройдя сквозь ГУЛАГ, в течение короткого промежутка времени жила вместе с Н.Я. Мандельштам в Малом Ярославце (см. об этом: *Мандельштам Н.Я.* Вторая книга. М., 1999. С. 617). В 1948 году она эмигрировала в Англию, где выпустила мемуары.

Приводим фрагмент из них по изданию: Galina von Mekk. *As I Remember them.* London. 1973, p. 249–251. Благодарим Эдуарда Моргана (Лондон) и Павла Нерлера, обративших наше внимание на эту книгу.

Перевод с английского и послесловие О. Лекманова

**МАТЕРИАЛЫ
К БИОГРАФИИ**

“НЕКИЙ ЕВРЕЙ МАНДЕЛЬШТАМ...”

*По документам Департамента полиции*¹

Дело, из которого почерпнуты публикуемые ниже документы – под номером 122А, т. 4 делопроизводства Особого отдела Департамента полиции² за 1911 год (ныне фонд 102 ГАРФ – Государственного архива Российской Федерации), – называлось так: “Разработка адресов, обнаруженных по обыску у Веры Дилевской и Мячина”. В нем 262 листа, начато дело в ноябре 1911 г., закончено в августе 1914 г. Это настоящее пособие по теме “Борьба карательных органов Российской империи с революционным подпольем накануне мировой войны”.

...Пансион Линде в Мустамяках (ныне ст. Горьковская) вошел в историю – но не столько как лечебница для легочников с отменной молочной кухней, сколько как место, где чуть ли не постоянно жили или отдыхали революционеры всех мастей и направлений³. Летом 1911 года там находились, в частности, Вера Дилевская и знаменитый большевистский боевик-экспроприатор, неуловимый Константин Мячин (в 1911 г., живя в Финляндии, он занимался подъемом оружия с затопленного в 1905 г. у берегов Ботнического залива парохода “Джон Графтон”)⁴. В начале августа 1911 года здесь была устроена внезапная облава, но самая крупная “дичь” ушла: бросив важные документы, Мячин и Дилевская сумели бежать. Арестованы были только хозяева пансиона – братья Линде⁵.

Зато информационный “улов” был богатым: захваченных бумаг было столько, что на годы была обеспечена ра-

бота жандармских управлений и охранных отделений чуть ли не по всей России. Письма и телеграммы так и шныряли из столицы в Ашхабад, Баку, во Владивосток, Вятку, Гродно, Екатеринбург, Екатеринодар, Екатеринослав, Иркутск, Калугу, Киев, Ковно, Н. Новгород, Одессу, Пермь, Ростов, Рыбинск, Севастополь, Тамбов, Тверь, Тифлис, Томск, Уфу, Харьков – и обратно. В деле – секретные и совершенно секретные циркуляры, перлюстрированная и расшифрованная конспиративная переписка, адреса и особые приметы “недегалов”, протоколы столичных и провинциальных обысков и допросов, справки паспортистов, шифротелеграммы с особо секретными сведениями.

Нашлось занятие и для заграничной агентуры. Ее начальник А.А. Красильников, чиновник для особых поручений при министре внутренних дел, слал из Парижа донесения об эмигрантах, упоминаемых в захваченной переписке, об их замыслах и заговорах, плетущихся в Цюрихе и Давосе, Вене и Неаполе, Берлине и Мюнхене, Лондоне и Льеже.

В деле упоминаются сотни “известных департаменту полиции” имен революционеров – эсеров и эсдеков, большевиков и меньшевиков, анархистов и максималистов. А имена Засулич, Плеханова, Бурцева, Брешко-Брешковской, Савинкова и Троцкого уже тогда были известны не только Департаменту полиции, но и всей России. Пройдет время, и столь же известными станут и другие имена: Якова Свердлова и Анатолия Луначарского, Адольфа Иоффе (будущего посла в Германии) и Арона Сольца (будущего председателя ЦКК). Здесь, в деле, впервые сошлись имена Варвары Яковлевой – будущего председателя Петроградской ЧК – и Вадима Чайкина – будущего члена ЦК ПСР (вторично эти имена встретятся в списке расстрелянных по приказу Сталина в Орловской тюрьме в сентябре 1941 года).

Словом, работа кипела, и полиция, кажется, уже знала все и обо всех!

И вдруг – “сигнал” о “некоем еврее”, связанном с дочей Линде и совершенно неизвестном Департаменту полиции!

Всякий, кто имел хоть какое-то касательство к этому пансиону, определенно возбуждал сыщицкий интерес к себе. Но никаких точных сведений ни о личности Ман-

дельштама (разве что национальность была блестяще “разгадана”⁶), ни о характере его противуправительственной агитации в донесении не содержится, кроме упоминания, что он – “по слухам”! – проживал в 1911 году в пансионе Линде и скрылся оттуда во время арестов “летом прошлого <то есть 1911 – Д.З., П.Н.> года”. Однако самый факт, то бишь слух, всерьез взволновал полицию, уязвленную неудачей с поимкой Мячина. И высшим чинам политического сыска Российской империи не лень было возиться с “неким евреем” целых полгода!

Началось все, по видимости, с рукописной анонимки, “любительского” доноса, поступившего к помощнику начальника Финляндского жандармского управления по Бьернеборгскому пограничному району полковнику Базаревскому. Тот передал сведения в несколько адресов: в районное охранное отделение, своему непосредственному начальнику полковнику Утгофу (который, очевидно, не придал доносу большого значения) и генерал-майору Лампе, начальнику жандармского полицейского управления Финляндских железных дорог, который и дал делу энергичный ход. В пользу предположения, что неизвестный нам донос был рукописным и анонимным, говорит то, что гельсингфорские жандармы не могли проверить изложенные в нем сведения, а одна из упоминаемых фамилий была при перепечатке переврана – “Фейсранов” вместо “Феофанова”⁷. На этом основании начальник управления генерал-майор Лампе отправил 24 июня 1912 года в Санкт-Петербургский Департамент полиции секретное донесение о том, что “некий еврей Мандельштам” проживал в пансионе “Лейно” в дер. Неуволла, где занимался “противуправительственной агитацией”. Но мало того, ему еще покровительствуют и даже выполняют его поручения чины местной финской полиции!

В завязавшейся между Финляндским жандармским управлением, столичным Охранным отделением и Особым отделом Департамента полиции интенсивной переписке ставилась четкая задача: вывести на чистую воду, “разъяснить” этого подозрительного и опасного революционного семита Мандельштама!

Мандельштама? Но какого?!

Надо сказать, что обладателей этой “фамилии чорто-

вой” проходило по делам Департамента полиции изрядное множество. Как правило, их все же друг от друга отличали, но нередко и путали. Так что замешательство полиции было понятно.

Судите сами. Было известно, что в Териоки наезжает знаменитый киевский профессор-окулист Эммануил Эмильевич Мандельштам (1838–?) – “закаленный, – по отзыву начальника Киевского губернского жандармского управления, – еврей, но получивший отличное высшее образование”. Когда в 1899 году киевские жандармы узнали, что он был одним из российских делегатов на Третьем Всемирном Сионистском Конгрессе, они попросили его представить им записку о сионизме, каковую Эммануил Эмильевич для них охотно составил, указав, что *“...заселение Палестины евреями... может служить службу всем, в особенности же самой России”*⁸. Впрочем, столь резвая агитационная деятельность в случае почтенного окулиста была едва ли представима.

Несколько проще было представить в этой роли Исаю Бенедиктовича Мандельштама (1885–1954) – к слову сказать, племянника и воспитанника киевского профессора. В 1908 году он закончил технический факультет Льежского университета, был там душой русской студенческой колонии, по обыкновению зараженной русским крамольным духом. С 1910 года – студент юридического факультета Санкт-Петербургского университета.

Немало полицейской крови попортил знаменитый московский присяжный поверенный М.Л. Мандельштам – один из известнейших в России защитников на политических процессах⁹ и член партии кадетов со дня ее основания. И он тоже частенько бывал на крамольных северных берегах Финского залива.

Но, пожалуй, самым главным революционером среди Мандельштамов был знаменитый большевик Мартын Николаевич (1872–1947). Его подпольные клички – “Лядов” и “Одиссей”. Впервые привлеченный к дознанию в Москве в 1892 году, все последующие 20 лет он не давал полиции поводов забыть о себе: 1893 – кратковременный арест, 1895 – организация первой маевки под Москвой, 1896 – новый арест и 5-летняя ссылка в Верхоянск, 1902 – первомайская демонстрация в Саратове, 1903 – бегство за границу (там, познакомившись с Лениным, он

становится одним из организаторов партии большевиков и непременным участником всех ее съездов). Вернувшись в 1905 году в Россию, он участвует и в событиях “кровавого воскресенья”, и в руководстве Московским вооруженным восстанием в декабре 1905 года, поработал и в финской военной организации. В 1909 году, разойдясь с Лениным, Мандельштам-Лядов стал одним из организаторов ультрареволюционной группы “Вперед”, читал лекции в организованных этой группой партийных школах на Капри (1909) и в Болонье (1910–1911). Департаменту было известно, что секретарем этой последней школы была его жена Лидия (кстати, замеченная в перлюстрации переписки слушателей), а среди самих слушателей – товарищ Антон, он же Константин Матвеевич Мячин – главное действующее лицо в событиях на даче Линде¹⁰. И в 1911 году этот Одиссей, по которому плакали и каторга, и виселица, как ни в чем не бывало возвращается в Россию и устраивается на работу в контору братьев Нобель в Баку! (Впрочем, для такого матерого большевистского волка бегать по териокским дачам тоже было как-то несерьезно...)

В картотеке был и еще один подозрительный Мандельштам – Николай Николаевич (до крещения – Эммануил Львович, род. 1879), высланный из Москвы в Воронеж в 1903 году за хранение подпольных брошюр и бесследно скрывшийся оттуда в феврале 1904 года. Да еще и Иосиф Менделевич Мандельштам, сын паневежского 2-й гильдии купца, имя которого всплывет в нижеследующих документах.

К ним, кстати, время и вернуться. В той переписке, продолжавшейся до декабря 1912 года, прослеживаются три этапа розыскных мероприятий:

- с июня по октябрь (первые 5 документов): выяснение личности (со служебной командировкой филера Ефимова)¹¹;

- октябрь–ноябрь (документы 6–8, 10–11): уточнение по картотекам возраста, адреса, занятий, революционной деятельности и проч.;

- ноябрь–декабрь (документы 9 и 12): попытка удостовериться в том, что этому “некоему еврею” хотя бы жить в Финляндии не положено (увы, и здесь неудача!).

Сведений же о том, что Мандельштам этот – поэт, в делопроизводстве Департамента полиции не обнаружено.

<1>

Секретно

В Департамент полиции

Получены сведения, что некий еврей Мандельштам (имя и отчество не выяснено) по слухам проживавший в 1911 году в пансионе Линде близ станции Мустамяки Финляндской железной дороги и скрывшийся оттуда во время арестов летом прошлого года, – в настоящее время проживает в новом пансионе “Лейно” в деревне Неувола Усикирского прихода и занимается противуправительственной агитацией между проживающими в 9 пансионатах около станции Мустамяки. Пансионаты эти часто посещаются многими лицами, приезжающими из Петербурга на короткое время, и здесь устраиваются собрания, на которых присутствуют Мандельштам и приезжие гости. Собрания большею частью происходят в пансионе Ребановича (близ станции Мустамяки). Местная полиция в лице помощника ленсмана Фейсранова, обер-констабля Саволайнена и констабля Викстрема покровительствует проживающим в пансионатах, между которыми много евреев, не имеющих права жительства в Финляндии. Викстрем, по слухам, исполняет даже поручения Мандельштама и развозит его корреспонденцию разным лицам в Териоки и Райвола.

Об изложенном полковником БАЗАРЕВСКИМ донесено начальнику Финляндского Жандармского Управления и сообщено в Районное Охранное Отделение, вместе с сим за № 38 и 39.

Генерал-майор Лампе

Л. 149–149об. На бланке: “Начальник Жандармского полицейского управления Финляндских железных дорог, 24 июня 1912 г., № 152, г. Гельсингфорс”. Пометы и резолюции: сверху рукой “27/6” и печатька “28 ИЮН. 1912” – очевидно, дата получения адресатом; в середине – слева, под штампом, резолюция: “Надо об этом запросить полковн. Утгофа” – и посередине по тексту: “Исх. № 103354”, внизу – помета “В отд. 28. VI” и такая же печатька “28 ИЮН. 1912”.

В августе 1911 г. Мандельштам отдыхал в санатории Конкалла под Выборгом, где познакомился с А.Ф. Кони (о чем писал В. Иванову). Известие о налете полиции на пансион Линде произвело на Мандельштама, по-видимому, сильнейшее впечатление: с этим его состоянием, по предположению А.А. Морозова, непосредственно связано стихотворение “Как кони медленно ступают...” (Литературное обозрение. 1991. № 1. С. 81).

Ребанович (очевидно, Рабинович) – имеется в виду пансион доктора С. Рабиновича, в котором Мандельштам действительно неоднократно останавливался; благодаря воспоминаниям сына д-ра Рабиновича – Григория, с которым Мандельштам был дружен, до нас дошел ряд шуточных стихотворений поэта (см.: *Мандельштам О. Соч.*: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 595).

Фейсранов (Феофанов – см. документ 3), *Саволайнен и Викстрем* – дополнительные сведениями об этих служащих финской полиции мы не располагаем.

Базаревский Давид Иосифович (18.09.1867 – ?) – полковник, вероисповедания магометанского. С 17.10.1910 – и. о. помощника начальника Финляндского жандармского управления по Бьернеборгскому пограничному району.

Лампе Александр Богданович (24.12.1850 – ?) – генерал-майор, с 3.09.1901 начальник жандармского полицейского управления Финляндских железных дорог.

<2>

Секретно

Начальнику Финляндского Жандармского Управления

Начальник Жандармского Полицейского Управления Финляндских железных дорог донес, что по полученным им сведениям в пансионе “Лейно”, в дер. Неувола, Усикирского прихода, проживает, занимается противуправительственной агитацией в среде населяющих пансионы у станции Мустамяки некто еврей М а н д е л ь ш т а м, успевший избежать ареста еще в минувшем году, причем местная полиция покровительствует проживающим в этих пансионах евреям, лишенным права жительства в пределах Финляндии, а констебль Викстрем даже исполняет поручения Мандельштама по развозке его корреспонденции.

Принимая во внимание, что об изложенном Помощником Вашего Высокоблагородия по Бьернеборгскому пограничному району уже донесено Вам за № 38, Департамент Полиции просит Вас сообщить надлежащие по сему предмету сведения.

*За Вице-Директора, подпис<ал> полковник Еремин
За Заведующего Особым отделом П. Шиллер
За Начальника Отделения <подпись нрзб>*

Л. 150–150об. На бланке: “Министерство внутренних дел. Департамент полиции. По Особому отделу. 5 июля 1912 г. № 103354”, ниже впечатано: “По I Отделению”. Пометы и резолюции: сверху – “19354/12”, под обращением – “отв<ет> вх. 26938/26506”.

Еремин Александр Михайлович (21.08.1872 – ?) – полковник. В службе – с 30.08.1891, в резерве отдельного корпуса жандармов с 9.03.1910; в 1910–1913 гг. заведующий Особым отделом Департамента полиции Министерства внутренних дел.

Шиллер Петр Николаевич – в службе с 1899 г. В 1912 г. – коллежский ассессор, старший помощник делопроизводителя Особого отдела Департамента полиции.

<3>

Секретно

В Департамент полиции (по Особому отделу)

По наведенным Помощником моим по Выборгскому району справкам, как негласным путем, так и через агентуру, оказалось, что в 5-ти километрах от ст. Муштамяки Финляндской жел. дороги в пансионе Лейно в дер. Неуволла Усикиркского прихода действительно проживает некий еврей МАНДЕЛЬШТАМ, имя и отчество которого установить пока не представилось возможным, так как в местном Полицейском Управлении он не прописан. – По-видимому МАНДЕЛЬШТАМ не имеет права жительства в Финляндии, так как часто переезжает с места на место, посещая при этом довольно часто пансион РЕБАНОВИЧА, где МАНДЕЛЬШТАМ проживал зимою этого года; что касается противуправительственной агитации, которую МАН-

ДЕЛЬШТАМ ведет будто бы с местными жителями и лицами, прибывающими из Петербурга, то собрать об этом какие-либо сведения не представилось возможным. – В районе местности Мустамяки действительно проживает очень много евреев, не имеющих здесь права жительства, с чем местной полиции, ввиду ее малочисленности и изворотливости евреев, очень трудно бороться. – Сведения о том, что местные полицейские обер-констаблы ФЕОФАНОВ (а не ФЕЙСРАНОВ) и САВОЛАЙНЕН и констабль ВИКСТРЕМ будто бы покровительствуют этим евреям, причем последний будто бы исполняет различные поручения МАНДЕЛЬШТАМА, негласною проверкою подтвердить не удалось и неблагоприятных сведений об этих полицейских чинах добыть негласным путем не удалось.

Донося об изложенном, присовокупляю, что об этом мною вместе с сим сообщено Полковнику БАЗАРЕВСКОМУ.

Полковник Утгоф

Л. 161–161об. Бланк: “Начальник Финляндского Жандармского Управления. 31 Августа 1912 г. № 2708. Гор. Гельсингфорс. На № 103354”. Пометы и резолюции: вверху – рукой “91593”, печатка “4 Сен. 1912”, рукой “16/д/9” и в правом углу штамп “Особый отдел. 4 Сент. 1912”. Вход. № 26506”; в середине, над исходящим номером, печатка “11 Сен. 1912”, под исходящим номером – резолюции: “Запросить свед<ения> об имени, отчестве и звании Мандельштама. Е<ремин?> 14/IX – и “Предоставляется <?> в ОО Деп. для прописки <?>. 12/IX Кур<очк>ин”, еще ниже рукописная помета “122а т. 4/12”, еще ниже – “Не отм<ечено>”.

Утгоф Карл-Рудольф Карлович (13.07.1860 – ?) – полковник; в службе с 1.07.1877, в 1908–1913 гг. – начальник Финляндского жандармского управления.

<4>

Секретно

Начальнику Финляндского Жандармского Управления

Департамент полиции просит Ваше Высокоблагородие сообщить сведения об имени, отчестве и звании

М а н д е л ь ш т а м а, помянутого в Вашей записке от 31-го Августа сего года за № 2708.

Вице-Директор

Заведующий Особым отделом

Начальник Отделения

С. Виссарионов

Полковник Еремин

В. Курочкин

Л. 164. На листе бумаги, исх. № неразборчив, дата “19 Сентября 1912”, “По 3 Отделению”. Под обращением – “Отв. 30842”.

Виссарионов Сергей Евлампиевич (13.07.1860–1918) – действительный статский советник, вице-директор Департамента полиции МВД. Будучи арестован после Февральской революции, дал обширные показания Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. Был свидетелем на процессе провокатора Р.В. Малиновского в Верховном революционном трибунале (5.11.1918). Расстрелян.

Курочкин Владимир Васильевич – в службе с 1902 г. В 1912 г. – коллежский асессор, старший помощник делопроизводителя Особого отдела Департамента полиции.

<5>

Секретно

В Департамент полиции (по Особому отделу)

По наведенным справкам оказалось, что имя и отчество МАНДЕЛЬШТАМА – Иосиф Эмильевич, сын С. Петербургского 2-й гильдии купца, проживает по паспорту Пристава 4-го участка Московской части С. Петербургской столичной полиции от 28 июня 1911 года за № 315.

Полковник Утгоф

Л. 165. Бланк: “Начальник Финляндского Жандармского Управления. 17 Октября 1912 г. № 3404. Гор. Гельсингфорс. На № 106351”. Пометы и резолюции: вверху рукой “108607” и штамп “Особый отдел. 18 Окт. 1912. Вх. № 30842”. Поверх подписи: “Препровождаю <далее – неразборчиво>. 18/X”. Поверх этой резолюции и самого письма наискосок снизу вверх: “Предложить нач<альни>ку Финл<яндского> упр<авления> выяснить его револ<юционную> деятельность, а также имеет ли он право жительства в Финляндии, а нач<альника>

СПБ О<хранного> О<тделения> о том, имеет ли право жит<ельства> в СПБ и нет ли у них свед<ений>, подтверждающих свед<ения>, излож<енные> в до-нес<ении> Нач<альника> ЖПУ Финл<яндских> ж.д.". 4/XI. Исх. 108732-731". "Прошу составить на него справку. Е<ремин>". Справа, по вертикали (снизу на-верх): "Справки препровождаю". Внизу, в правом углу: "А/III/127. 912. Не отв."

<6>

*Справка по центральному справочному
алфавиту*

Вверху слева – рукописная помета: Немедленно.

*Вверху справа – штамп: "В розыском алфавите 2-го
Делопроизводства сведений не имеется". Дата:
9.11.1912. Подпись: нрзб.*

*Внизу слева: "Справку наводил 25 Октября 1912 г."
<Подпись>*

*Внизу справа: Штамп: "Принята: 12 ч. 40 м.; Наве-
дена: 12 ч. 50 м.; Сдана: 2 ч. 15 м."*

*В поле второго столбца – снизу вверх: штамп "Кар-
точки на Мандельштама Иосифа Эмилевича в Фото-
графическом Бюро не имеется. 9.11.1912" Подпись.*

*На левом поле – снизу вверх: Младший Помощник
Делопроизводителя. Подпись.*

Делопроизвод<ство>: ОО. III Отд.

Вх. № 30842

*По каким Делопроизводствам и за какие годы требу-
ется справка: По Делу Р.О.: № 77693 25/X.*

Фамилия: Мандельштам

Имя и отчество: Иосиф Эмилевич

Звание: Сын СПетерб. 2-ой гильдии купца.

*Д-ства №№ дел №№ входящих бумаг Особ. отмет-
ка <В первом столбце – номера делопроизводств Депар-
таментной полиции – с 1-го по 7-ое и ОО – Особый отдел.
Во втором – номера дел: отметим, что только два из
указанных шифров касаются непосредственно О. Ман-
дельштама – 8-3/910 и само данное дело № 122А, т. 4,
тогда как в остальных делах речь идет о тезке и одно-
фамильце поэта – Иосифе Менделевиче Мандельшта-
ме, сыне Паневежского 2-й гильдии купца, проживав-
шем в 1892 г. в Америке. В третьем столбце к О.Э. Ман-*

дельштаму имеет отношение документ № 14157/910 (по-видимому, утраченный), содержание которого отражено в док-те 7 наст. публикации, а также док-ты № 30842/912 и 26938/912 (см. № 2 и 5 в наст. публикации)>.

Справку навел

Тарасов

25 Октября 1912 года

Л. 166. Бланк-формуляр “Справки по центральному справочному алфавиту”. Вверху, слева – резолюция: “Немедленно”, справа – штамп: “В розыском алфавите дел делопроизводства сведений не имеется. 9/XI-12 г. Крохин”. Слева, снизу наверх: “Младший <нрзб> делопроизводитель”. <Подпись. Не очень рзб – вроде “А. Ги-яров<?>”>, штамп (слева, снизу наверх): “Карточки на Мандельштама Иосифа Эмилевича в Фотографическом Бюро не имеется. 19/XI-1912”. <Подпись неразборчи-ва>. Внизу, в правом углу – штамп, видимо, фиксирующий время поступления запроса (12 ч 40 мин), начало и конец работы по запросу (соответственно, 12 ч 50 мин и 2 ч 15 мин).

Центральный справочный алфавит Департамента полиции – картотека (к 1917 г. насчитывала около 2 млн карточек!) на всех подданных Российской империи и иностранцев, так или иначе упомянутых в делопроизводстве Департамента. В настоящее время входит в состав справочных картотек фонда 102 ГАРФ.

<7>

Справка по Особому отделу

Входящий №: 30892

Дело №: 127 – 1912 г.

1. Фамилия: МАНДЕЛЬШТАМ

2. Имя: Осип

3. Отчество: Эмилев

4. Клички: Неизв<естны>

5. Звание: Сын Петербургского купца

6. Год и место рождения: Сведения 1910 г. – 20 лет

7. Вероисповедание: Неизв<естно>

8. Образовательный ценз: Неизв<вестен>

*9. Семейное положение и родственные связи: Мать
Флора Осиповна Мандельштам*

10. Приметы и время их: *Неизв<естны>*

11. Имеется ли фотография, где находится и год:
нет

12. Упоминается ли в Цирк<улярах> Д<епартамен-
та> полиции: *нет.*

1) Сведения о революционной деятельности:

8-3-2-го

Д<ело>производст<ва> 910 г.

В Октябре месяце 1910 года на имя Директора Департамента полиции поступило прошение жены Петербургского купца Флоры Осиповой Мандельштам, в коем она просила Директора телеграфировать Русскому Консулу в гор. Кенигсберге о том, чтобы он выдал сыну ея Осипу Эмильеву проходное свидетельство. Кроме того из этого прошения усматривается, что помянутый сын ея 20 лет неврастеник, летом того же года находился на излечении в Финляндии, откуда водным путем проехал в Берлин, где Флора Мандельштам лежала на операции в клинике. Возвращаясь в Россию Осип Мандельштам на границе был задержан как имевший просроченный паспорт, выданный С. Петербургским Градоначальником, причем последний, будто бы, отказал в ходатайстве Русского Консула в Кенигсберге разрешить Мандельштаму вернуться в Россию, не имея на это власти, а ее Флору Мандельштам направил в Департамент Полиции.

15 Октября 1910 года Департаментом полиции была послана телеграмма Русскому Консулу в Кенигсберге о том, что со стороны Департамента не встречается препятствий в выдаче свидетельства на возвращение в Россию находившемуся в болезненном состоянии, русскому подданному Осипу Эмильеву Мандельштаму: имевшему паспорт, выданный С. Петербургским Градоначальником, если в личности Мандельштама не встречается сомнений.

9 ноября 1912 года

За Начальника Отделения: Угаров <?>

Л. 170-170об. Машинопись, отдельные ответы (на вопросы № 4, 7, 8, 10-12) – рукой. Единственная помета – неразборчивое слово сверху листа.

В Департамент полиции по Особому отделу

Помощником моим по Выборгскому району 11 prošлага Октября был командирован филер ЕФИМОВ для собиpания сведений о МАНДЕЛЬШТАМЕ, проживающем близ ст. Мустамяки (требование Департамента полиции за № 103354), о Софии ПЛЕВКО, проживающей в РАЙВОЛО (запрос Ломжинского Губернатора за № <пробел>, и о личности писателя Микко УОТИНЕ-НА, проживающего в Териоках (отношение Отдельного Корпуса Жандармов Ротмистра Сосновского за № 829), при этом филером израсходовано 40 м 25 п. (15 руб. 9 к.).

Филером установлено, что имя и отчество МАНДЕЛЬШТАМА – Иосиф Эмильевич, сын С. Петербургского купца 2 гильдии, проживает по паспорту Пристава 4 участка Московской части от 28 июня 1911 г. за № 315; литератор Микко УОТИНЕН, бывший начальник Красной Гвардии, занимается агитацией по панфинской пропаганде, произносит зажигательные речи против ИМПЕРАТОРСКОГО правительства; София ПЛЕВКО – брошена с четырьмя детьми мужем, хлопчет о выдаче ей отдельного вида на жительство.

Номер, за которым препровождается в 3 Делопроизводство счет, будет сообщен дополнительно.

Полковник Утгоф

Л. 180-180об. Бланк “Начальник Финляндского Жандармского Управления. 11 Ноября 1912 г. № 3699. Гор. Гельсингфорс”. Пометы и резолюции: вверху рукой “118408” и штамп “Особый отдел. 12 Нояб. 1912. Вход. № 33741”. Под флагом – печать “Северный”, ниже, рукой, – пометы: “III/122а/т/11. И.П. Васил<ев?>. Подп. Сушков и Ватров. 12/XI”.

Филер Ефимов – унтер-офицер Финляндского жандармского управления.

София Плевко – дополнительными сведениями не располагаем.

Уотинен Микко (1885–1931) – финский писатель и публицист, жил в Териоках; в апреле 1918 г., после победы белых в Гражданской войне в Финляндии, был назначен Временным Полицмейстером Териокского района

(см. запись в дневнике Л. Андреева от 21.04(4.05). 1918 в кн.: *Андреев Л. С.О.С. М.*; СПб., 1994. С. 70–71).

Райвола и Териоки – известные дачные места в Финляндии (близ Петербурга).

Сосновский Василий Васильевич (1880–?) – в службе с 1899 г., в Отдельном корпусе жандармов – с 1907 г. В 1912 г. – ротмистр в распоряжении петербургского градоначальника.

<9>

Секретно

Начальнику Финляндского Жандармского Управления

14 ноября 1912

<Исх. № – ?> 108730

По 3 Отделению

Вследствие записки от 17 Октября 1912 года за № 3404, Департамент полиции просит Ваше Высокоблагородие выяснить революционную деятельность Иосифа Эмилиева Мандельштама, а также уведомить – имеет ли названное лицо право жительства в Финляндии.

Вице-Директор

Заведующий Особым отделом

Начальник 3 Отделения

С. Виссарионов

Полковник Еремин

С. Васильев, майор

Л. 181. На листе бумаги. Пометы и резолюции: слева вверху рукой “30842”, наискось “Отв. 37185”, штампик “108730”. Под обращением: “Ускир. 31/XI – 12. А/109595”.

Васильев Сергей Дмитриевич – в службе с 1892 г. В 1912 г. – надворный советник, младший помощник делопроизводителя Особого отдела Департамента полиции.

<10>

Секретно

Начальнику С. Петербургского Охранного Отделения

13 ноября 1912

<Исх. №> 108731

По 3 Отделению

Вследствие записки Помощника Начальника Финляндского Жандармского Управления по Бьернеборгско-

му пограничному району от 24 Июня 1912 года за № 39 на Ваше имя, Департамент полиции просит Ваше Высочайшее Уведомление уведомить, имеет ли право жительства в С.-Петербурге помянутый в означенной записке сын С.-Петербургского купца Иосель Эмильев Мандельштам и подтверждаются ли сведения, изложенные в означенной записке за № 39.

*Вице-директор
Заведующий Особым отделом
Начальник 3 Отделения*

*С. Виссарионов
Полковник Еремин
С. Васильев, майор*

Л. 182. На листе бумаги. Пометы и резолюции: под обращением – “Отв. 35544”. Слева в середине: “В дело 122а т. 4”.

<11>

Секретно

В Департамент полиции

Сын С. Петербургского купца Иосель Эмильев МАНДЕЛЬШТАМ, по распоряжению Охранного Отделения обыску и аресту не подвергался и к таковым предназначен не был.

Сведений, кроме изложенных в записке Помощника Начальника Финляндского Жандармского Управления по Бьернеборгскому пограничному району, о происходивших будто бы летом текущего года в пансионах, расположенных близ станции Мустамяки, противоправительственных собраниях и о участии в них Мандельштама в качестве агитатора, в вверенное мне Отделение не поступало.

По имеющимся в Отделении сведениям, Иосель Мандельштам по своим убеждениям примыкает к Р.С.Д.Р.П., но активной работы не проявляет. В делах Отделения имеются сведения, что он в Ноябре 1907 года, будучи гимназистом 1-й С. Петербургской гимназии, был замечен в сношении с лицом, наблюдавшимся по военной боевой организации. О нем имеется циркуляр Департамента полиции от 10-го марта 1909 года за № 151018/34, п. 819, как о лице утерявшем свой паспорт. Кроме того по сообщению Начальника Тифлисского Губернского Жандармского Управления от 30-го Января 1910 года за № 1798, адрес Мандельштама обнару-

жен при обыске 15-го января 1910 года у студента Московского Университета, Михаила Михайловича КАР-ПОВИЧА, принадлежавшего к Тифлисской ученической организации партии социалистов-революционеров. За последнее время неблагоприятных сведений о нем не поступало.

Указаний о запрещении права жительства в столице названному Мандельштаму в делах Отделения не имеется.

*За Начальника Отделения,
Помощник его, Подполковник*

Покрошинский

Л. 183–183об. На бланке: “Начальник Отделения по Охранению Общественной Безопасности и Порядка в С.-Петербурге. По Району. 28 Ноября 1912 г. № 20177. На № 108731 По Особому отделу (3-е Отделение)”. Аббревиатура “Р.С.Д.Р.П.” подчеркнута адресатом.

Пометы и резолюции: сверху штамп “Особый отдел. 29 Нояб. 1912 Вход. № 30544”. Под флагом – помета: “Представленные Г<осподином> зав<едующим> О<собым> о<тделом> ввиду<?> резол<юции?> 30842. 18/ХІІ Нач.<подпись неразборчива>”. Под ней еще помета: “<Нрзб> на № 109782. 1/ХІІ. ІІІ/122а т. 4/12”.

Потеря паспорта – документация пока не обнаружена, хотя номер соответствующего документа известен: Фонд Департамента полиции (ГАРФ. Ф. 102, 2 делопроизводство, № 14157).

Сведения о том, что в ноябре 1907 года Мандельштам, будучи гимназистом 1-й С.-Петербургской гимназии, “был замечен в сношении с лицом, наблюдавшимся по военной боевой организации”, по-видимому, могут иметь касательство к другому лицу, поскольку М. в 1-й гимназии не учился, а в ноябре 1907 г. находился в Париже. Тем не менее Мандельштам безусловно контактировал с лицами, имевшими то или иное отношение к социал-демократам (с тем же “репетитором русской революции” Сергеем Ивановичем Белявским; например, см. в примечаниях П. Нерлера к “Шуму времени” в: *Мандельштам О.* Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 394–395). Еще более красноречивое свидетельство влияния идей марксизма на Мандельштама – глава “Эрфуртская программа” в том же “Шуме времени”.

Карпович Михаил Михайлович (1888–1959) – русский историк, журналист и издатель. С Мандельштамом познакомился в декабре 1907 г. в Париже, где они часто встречались до отъезда Мандельштама в апреле 1908 года (в 1909–1912 гг. эпизодически общались в Петербурге). См. воспоминания М. Карповича “Мое знакомство с Мандельштамом” (Новый журнал. Нью-Йорк, 1957. № 49. С. 258–261).

Покрошинский Иван Телесфорович (26.09.1867 – ?) – подполковник, с 4.12.1908 – в резерве Отдельного корпуса жандармов, в 1912 – помощник начальника отделения по охранению общественной безопасности и порядка в Санкт-Петербурге.

<12>

Секретно

В Департамент полиции (по Особому отделу)

По наведенным Помощником моим по Выборгскому району справкам оказалось, что Иосиф Эмильевич МАНДЕЛЬШТАМ, как крещеный еврей, пользуется правом жительства в Финляндии. В Октябре месяце сего года он выехал из селения Мустамяки неизвестно куда. – Сведений о его революционной деятельности, кроме упомянутых в донесении моем от 31-го Августа 1912 года за № 2708, добыть не представилось возможным.

Полковник Утгоф

Л. 184. Бланк “Начальник Финляндского Жандармского Управления. 12 Декабря 1912. № 4021. Гор. Гельсингфорс. На № 108732”. Слова “как крещеный еврей” подчеркнуты адресатом.

Пометы и резолюции: вверху рукой “130707” и штамп: “Особый отдел. 14 Дек. 1912. Вход. № 37185”. Под флагом – трудночитаемые пометы: “Препровождена Г. Зав.ОО <Далее неразборчиво>. 18/12. Нач. Отд. Курочкин. 122а т.4/12”.

¹ Впервые отрывки из данного комплекса документов воспроизведены А.Г. Мецем в публикации “Неизвестные стихотворения Мандельштама” (Даугава. Рига, 1988. № 2. С. 106–107). Ссылки на них содержатся также (с указанием номера фонда) в его примечаниях к публика-

ции выдержек из дневника С.П. Каблукова в: *Мандельштам О. Камень. Л., 1990. С. 359, 361* (Литературные памятники). Промежуточной является и наша газетная публикация “Некий еврей Мандельштам...”. По документам Департамента полиции / Публ. и пояснения Д. Зубарева и П. Нерлера // *Русская мысль. Париж, 1993. № 3893* (11–17 июня). С. 11 и № 3894 (18–25 июня). С. 9. В полном виде комплект документов вводится в научный оборот впервые.

² Департамент полиции просуществовал в России с 6 августа 1880 года по 27 февраля 1917 года. Главной задачей этого органа политического сыска и управления являлось “предупреждение и пресечение преступлений и охрана общественной безопасности и порядка”. В его ведении находились охранные и сыскные отделения, полицейские учреждения, адресные столы и пожарные команды. В ведении Департамента находились также гласная и негласная агентура, а собственный аппарат Департамента состоял из Особого отдела, 9 делопроизводств и еще нескольких составных частей. Входя в состав МВД, Департамент занимал в нем особое положение; в частности, теснейшим образом он был связан с Отдельным корпусом жандармов (общее руководство и тем и другим осуществляло одно лицо – товарищ министра внутренних дел). Непосредственной главой Департамента был директор (всего их сменилось 18).

³ В этом пансионе “находили приют все скомпрометированные в глазах петербургской жандармерии лица... Меньшевики, большевики, бундовцы, социалисты-революционеры, анархисты – все перебивали на правах пансионеров в скромном, населенном, как улей, доме” (*Канторович Вл. Федор Линде // Былое. 1924. № 24. С. 221–251*). По соседству с пансионом Линде были дачи Екатерины Федоровны Крит, поклонницы М. Горького, и Марии Карловны Иорданской, по первому мужу – Куприной (дом не сохранился, будучи в 1924 г., перед выездом хозяев в Россию, продан на снос). Пансион принадлежал Полине Фелициановне Жанковской (по мужу Линде) и ее сыновьям Ивану (Иоганну Альберту) и Федору (Фридриху Михаилу) Линде. (Этими сведениями о пансионе и семье Линде мы обязаны Елене Ивановне Хучуа-Линде, Тбилиси.)

Федор Федорович Линде (1881–1917) – математик и беспартийный революционер, автор вступительной статьи к книге Л. Кутюра “Философские принципы математики” (СПб., 1913) и собственной книги “Строение понятия. Логическое исследование” (Пг., 1915). Будучи вольноопределяющимся Лейб-гвардейского пехотного полка, вывел его 20 апреля 1917 г. из казарм и повел к Мариинскому дворцу с требованием отставки Милюкова. 13 мая того же года, согласно удостоверению Петросовета, был назначен помощником комиссара Особой армии Юго-Западного фронта, где и погиб 25 августа в результате солдатского самосуда в расположении 443-го полка 3-й пехотной дивизии; похоронен в Луцке. О смерти Ф. Линде см. газетные отклики: “Новая жизнь” (27.08.1917), “Голос солдата” (2.09.1917), “Свободный зритель” (2.09.1917), “Известия советов рабочих и солдатских депутатов” (2.09.1917), “Биржевые ведомости” (6.09.1917), а также “Речь” и “Социал-демократ” (даты не уточнены). См. также в воспоминаниях П.Н. Краснова “На внутреннем фронте” (Архив Русской революции.

Т. 1. Берлин, 1922. Гл. 3). Ф. Линде – прототип комиссара Гинце в романе Пастернака “Доктор Живаго” (под своим именем фигурирует в узле четвертом “Апрель Семнадцатого” эпопеи А. Солженицына “Красное колесо” – гл. 50, 55, 57). С Мандельштамом Ф. Линде был знаком с юных лет; его гибель, по предположению Н.Я. Мандельштам, отозвалась в стихотворении “Когда октябрьский нам готовил временщик...”.

⁴ *Мячин Константин Алексеевич* (1886–1938; он же “Антон”, он же “Николай”, он же “Сотник”, он же “Василий Васильевич Яковлев”, он же “Стоянович”) – в 1906–1909 гг. участник и организатор пяти “экспроприаций” на Южном Урале; в ноябре 1910 – марте 1911 г. слушатель и один из руководителей партийной школы в Болонье, организованной группой “Вперед” на деньги от ограбления группой Мячина станции Миасс. (Подробнее о нем см. в: *Лешкин Н.* Последний рейс Романовых // Рифей. Уральский краеведческий сборник. Челябинск, 1989. С. 28–88).

⁵ См., например, заметку “Арест революционеров в Финляндии” (Петербургский листок. 1911. № 216, 9 авг.). Постановлением Особого совещания при министре внутренних дел от 20.02.1912 г. Федор и Иван Линде – “за сношения с видными активными деятелями боевой организации РСДРП” – были приговорены к ссылке в Нарымский край Томской губернии сроком на 2 года. В апреле 1912 г. ссылка Ф. Линде была заменена выездом за границу на тот же срок.

⁶ Попутно обозначим сквозящую в этих документах тему служебно-бытового антисемитизма в полицейских кругах, апогеем которого стало, разумеется, дело “жида” Бейлиса.

⁷ При первичном просмотре фондов Финляндского Жандармского управления и Жандармского управления Финляндских железных дорог (ГАРФ. Ф. 494, 495с) документов, имеющих касательство к этому делу, обнаружить не удалось.

⁸ Цит. по: *Локшин А.* Формирование политики: Царская администрация и сионизм в России в конце XIX – начале XX в. // Вестник Еврейского университета в Москве. 1992. № 1. С. 46–47. Интересно, что в 1910 году судьба свела Э.Э. и О.Э. Мандельштамов в пансионе в Ханге. Об их встрече сохранилось свидетельство в дневнике С.П. Каблукова (в то время секретаря Религиозно-Философского Общества) за 7.07.1915. Так, “киевский” Мандельштам назвал фельетон известного сиониста М. Нордау “перлом”: «Фраза была сказана и звучала так: Эташперла! = “Это же перл”. Трудно передать особую интонацию и акцент, с каким это было сказано. // В первый миг ни И.Е. <Иосиф Эмильевич. – Комм.>, ни я не поняли этого слова, затем, поняв, стали безудержно и вполне невежливо смеяться в лицо милому старику, делая тщетные усилия прекратить смех, все усиливающийся.// И сейчас, вспоминая об этом с И.Е. Мандельштамом, я почти никогда не могу заставить себя не смеяться. То же и мой соучастник И.Е.» (ГПБ. Ф. 322. Оп. 1. Ед. хр. 3–5). Об этой встрече Э.Э. и О.Э. Мандельштамов см. также в: *Мандельштам Н.* Вторая книга. М., 1990. С. 416 (там же – о визите самой Надежды Яковлевны, тогда 10-летней девочки, к знаменитому киевскому врачу).

⁹ См. его книгу: 1905 год в политических процессах: Записки защитника. М., 1931.

¹⁰ См. в кн.: Большевики: Документы по истории большевизма с 1903 по 1916 год бывшего Московского Охранного Отделения. М., 1990. С. 78, 80, 98, 104, 107, 294–295, 297.

¹¹ Еще бы: при таком богатом “выборе” Мандельштамов знание отчества играло определяющую роль!

*Публикация, предисловие и примечания Д. Зубарева
и П. Нерлера*

Я. Леонтьев

ЧЕЛОВЕК, ЗАСТРЕЛИВШИЙ ИМПЕРАТОРСКОГО ПОСЛА

К истории взаимоотношений Блюмкина и Мандельштама

1

Поэты-имажинисты, заявившие о создании своего объединения в январе 1919 г., спустя девять месяцев оформились в “Ассоциацию вольнодумцев в Москве”. Наряду с Есениным, Мариенгофом, Шершеневичем и другими имажинистами под уставом подписался Яков Блюмкин, прозванный приятелями “романтиком революции” (выражение Вадима Шершеневича)...

Блюмкин начал приобщаться к литературе одновременно с приобщением к идеям революции. Двое его старших братьев – Исай и Лев – сотрудничали в одесских либеральных газетах. Третий брат, Натан Григорьевич Блюмкин, писавший под псевдонимом Н. Базилевский, получил признание в качестве драматурга. Эсеровским кружком, в котором подвизался юный Симха-Янкель (под этим именем Яков Блюмкин значится в картотеке Департамента полиции, хранящейся в Государственном архиве Российской Федерации), руководил Валерий Кудельский, больше известный по своему литературному псевдониму Горожанин. Ставший впоследствии видным чекистом, Кудельский-Горожанин был дружен с Бабе-лем и Маяковским, последний посвятил ему поэму “Солдат Дзержинского”.

Согласно картотеке, на учете в Департаменте полиции в Одессе состояли также Лев, Исай, Роза и Лиза Блюмкины. В других городах (главным образом в соседнем Херсоне и Елисаветграде) в поле зрения политической

полиции попало немало носителей этой фамилии. Особое беспокойство Департамента вызывали анархистка-коммунистка Ривка Химова Блюмкина (она же “Верка”, она же “Маня”, она же “Вера маленькая”), высланная в Тобольскую губернию, и несколько ее братьев. Еще одна Блюмкина – Фанни Григорьевна – впоследствии вышла замуж за левого эсера Якова Брауна (псевдоним Израиля Броуна), литературного и театрального критика, знакомого Есенина и Маяковского. Было ли между ними и Яковом, происходившим из мещан местечка Сосница Черниговской губернии, какое-либо родство и какова его степень, установить пока не удалось.

Как видно из справки наружного наблюдения царской полиции, 17-летний ученик технического училища Симха-Янкель Гершев Блюмкин попал под службу 10 декабря 1915 г. по подозрению в связях с одесской группой анархистов-коммунистов. Одессит Катаев, по-видимому хорошо наслышанный о Блюмкине, вывел его под именем чекиста Наума Бесстрашного в повести “Уже написан Вертер”: “До революции он был нищим подростком, служившим в книжном магазине, где среди бумажной пыли, по ночам, при свете огарка, в подвале запоем читал исторические романы и бредил гильотиной и Робеспьером”¹.

2

После революции Блюмкин водил дружбу прежде всего с такими же “леваками”, как и он сам. В числе одесских эсеров-максималистов особенно выделялись Петр Зайцев (партийная кличка “Цезарь”) и Борис Черкунов. Первый из них, возглавлявший Исполнительное бюро Одесского Союза эсеров-максималистов, стал начальником штаба у знаменитого авантюриста полковника Муравьева. Он вел весьма богемный образ жизни и писал стихи вроде этих:

“Не люблю, не хочу женщин изысканных, // Гордо терпящих болезнь современности, // Не люблю, не хочу, уберите напыщенных // Блядей в затхлой верности. // Эти бледные женщины – сплошная измена...”²

Черкунов, возомнивший себя поэтом-футуристом, принадлежал к числу закадычных друзей знаменитого матроса Железняка. С середины 1918 г. он был политко-

миссаром полка, которым командовал “уставший караульный”.

После событий 6 июля оба они: и Зайцев, и Черкунов – были схвачены большевиками. Но Анатолий Железняков, находившийся тогда еще в фаворе у властей предрежащих, взял их на поруки³. Однако перед этим “Цезарь” успел дать компрометирующие показания на Блюмкина.

Рассказ Зайцева не был помещен в “Красной книге ВЧК”. По словам редактора первого тома этого сборника П. Макинциана, они не были включены в книгу “ввиду того, что свидетель говорит исключительно о личности Якова Блюмкина”, и из-за того, что “факты, компрометирующие личность Блюмкина, проверке не поддаются”⁴.

Петр Зайцев был старше Блюмкина на шесть лет. Он получил образование в художественном училище и прогимназии. В начале 1917 г. был призван в армию вольноопределяющимся. После Февральской революции стал секретарем секции общественной безопасности в Одесском Совете рабочих депутатов, затем был организатором Красной гвардии. Впоследствии сменил много различных должностей на фронтах гражданской войны и закончил ее комбригом. В начале 20-х судьба снова свела его с Блюмкиным в стенах Военной академии РККА...

Пришло время процитировать зайцевские показания, датированные 10 июля 1918 г.: «Якова Блюмкина я знаю лет пять-шесть еще по Одессе. Происходит он из очень бедной семьи. Хотя Блюмкин мне рассказывал, что он учился в гимназии, но мое личное впечатление таково, что систематического образования он не получил и что история про гимназию совершеннейшая ложь... До революции Блюмкин никакого участия в политической борьбе не принимал – это мне известно доподлинно.

У Блюмкина есть брат по имени Лев – анархист по убеждениям и одновременно сотрудник буржуазных газет – в том числе и “Южной мысли”. В августе или сентябре 1917 года я встретил Льва Блюмкина, у которого расспрашивал об Якове Блюмкине. Лев сказал мне, махнув рукой: “поехал в Сибирь от народных социалистов агитировать за Учредительное собрание” – это подлинное его выражение.

Якова Блюмкина я встретил в Москве уже после отступления из Одессы Советской армии, т. е. в промежу-

ток времени от 15 до 17 мая. Яков мне рассказывал, что он был в армии помощником начальника штаба. Мой товарищ Черкунов, максималист, принявший от Блюмкина должность помощника начальника штаба, говорил мне, что Блюмкин рассказывал ему, Черкунову, обо мне, так как знал по Одессе...»⁵

В другом месте своих показаний Зайцев изложил, что именно сообщил Яков его товарищу: он сказал ему, “что Зайцев, должно быть, увез много миллионов из Одессы, что он не студент, как себя выдает, а его уволили из 3-го класса гимназии и пр.”. Этот треп Блюмкина закончился тем, что “Цезарь” устроил ему “очную ставку” с Черкуновым. Во время нее, “когда Черкунов повторил, что Блюмкин говорил в штабе 3-й армии, тот стал отказываться от своих слов, заявив, что Черкунов лжет”. Однако последний продолжал настаивать на своих словах. Тогда Блюмкин снова назвал его лгуном и хотел было ударить, но Зайцев удержал разошедшегося Якова и заявил, что доверяет Черкунову больше, чем ему. Зато при первой же следующей встрече Блюмкин, по словам Зайцева, сознался в том, “что это действительно он солгал и просил извинения”⁶.

Кроме обвинений в ребяческих выходках, “Цезарь” отозвался о Блюмкине как о человеке, нечистом на руку. «В первую свою встречу с Я. Блюмкиным в Москве последний просил дать ему какую-нибудь работу в канцелярии мирной Российской <делегации> для переговоров с Украинской делегацией. На это я ему ответил, что если он будет выкидывать такие же трюки, как и в Одессе, то никакой ответственности за него принять на себя не могу. Дело в том, что Блюмкин принимал участие в Одессе в самых грязных историях – так, например, он служил у владельца какого-то механического завода, обрабатывающего снаряды, некоего Перемена. Этот Перемен занимался на самом деле предоставлением за крупное вознаграждение отсрочек по отбыванию воинской повинности, и у него-то служил и, как все об этом упорно говорили, принимал участие во всех грязных комбинациях Блюмкин.

Так вот, когда Блюмкин просил меня о рекомендации и я ему дал вышеуказанный ответ, Блюмкин заявил, что он совершенно переменился и что совершенно другой человек. Принимая во внимание последнее, я просил т. Ра-

ковского предоставить место в канцелярии. Тов. Раковский согласился.

В день отъезда Блюмкин зашел ко мне и в разговорах стал проповедовать в туманных выражениях необходимость совершить покушение на Скоропадского. Услышав от него это, я решил, что Блюмкин с нами ехать ни в коем случае не может и не должен, для чего я скрыл от него час отъезда, сказав, что мы уезжаем в час или два ночи, а на самом деле мы уехали часов в одиннадцать. Когда мы приехали в Курск, то мне была подана телеграмма за подписью т. Сталина, председателя в то время мирной делегации, о том, что к нему явился Я. Блюмкин и сказал, что он представитель военного ведомства, и что опоздал к поезду, и для того что<бы> нагнать его просил оказать содействие. На эту телеграмму я ответил следующее: “Блюмкин приглашен для работы в канцелярии и не состоит нигде никаким представителем, приглашен для канцелярской работы, пусть остается в Москве”<...>»⁷.

Из показаний Зайцева видно, что скорее всего именно в Одессе Блюмкин начал контактировать со вторым убийцей Мирбаха – Николаем Андреевым. Упоминается в них и еще об одном блюмкинском приятеле, одесском анархисте Юрии Дубмане. По мнению “Цезаря”, Дубман мог иметь какое-то отношение к покушению на посла. По крайней мере, случайно повстречавшись на улице Зайцеву 9 июля 1918 г., он заявил, “что Блюмкин сделал большое дело”.

3

На заседании ЦК партии левых эсеров, состоявшемся 2 мая 1918 г., товарищ (заместитель) председателя ВЧК Вячеслав Александрович сделал экстренное заявление о том, что чекисты намерены объявить “красный террор” врагам революции. Александрович высказал свое личное мнение, что левым эсерам нужно уйти из “комиссии Дзержинского”. После долгих прений ЦК постановил: “I. Все остаются на местах... IV. Постараться усилить комис<сию> работниками”⁸.

В числе этих новых работников на службу в ВЧК поступил и Яков Блюмкин. Из тех же, пока не опубликованных, протоколов ЦК левых эсеров видно, что он по-

явился в Москве не позднее 7 мая. Прошло совсем немного времени, и двадцатилетний честолюбец подал чекистскому руководству проект о расширении своего отдела в “центр Всероссийской контрразведки” (свидетельство М.Я. Ладиса). Но его прожекты не получили одобрения.

Гораздо больше Блюмкин преуспел на другом поприще, войдя в круг московской литературной богемы. Стать там своим человеком ему могли помочь товарищи по партии. По крайней мере двое из них – однокашник Ходасевича по гимназии Донат Черепанов и приятель имажинистов Юрий Саблин (сын известного книгоиздателя и внук антрепренера Корша) посещали салоны “золотой молодежи” еще с дореволюционных времен.

В центральных левозэсеровских газетах в это время можно было встретить такие объявления: “1-го мая Московский комитет партии левых с.-р. (интерн<ационалистов>) устраивает вечер в помещении Ц.К. (Леонтьевский пер., 18) при участии Спиридоновой, Камкова, Штейнберга, Есенина, Орешина...” или: “В помещении бывшего Немецкого Клуба (Софийка, 6), в среду, 5 июня... состоится литературно-музыкальный вечер при участии Лундберга, А. Белого, Есенина, Орешина, Лурье, Черепанова и др.”⁹.

Поэт и художник Аркадий Штейнберг, уроженец Одессы, в своих надиктованных воспоминаниях поведал о близком знакомстве своего дяди – известного московского журналиста, большого знатока Ближнего Востока Давида Азовского с Блюмкиным. По словам Штейнберга, “дядя рассказывал, как Блюмкин приходил к нему домой на Сивцев Вражек, поднимался на пятый этаж, сидел на подоконнике и все время куда-то смотрел. И только потом, когда Блюмкин убил Мирбаха, дядя понял, зачем он приходил и внимательно все осматривал. Дело в том, что из окна дядиной квартиры хорошо просматривалась территория германского посольства”¹⁰.

Небезынтересно отметить, что в той же самой квартире как раз в это время снимал комнату Борис Пастернак, печатавшийся в органах левых эсеров. Эта квартира описана им в “Охранной грамоте”...

Литераторы, сотрудничавшие с левыми эсерами, часто посещали квартиру члена ЦК этой партии, одного из организаторов ее издательской работы Вениамина Левина. Левин, считавшийся поэтом имажинистского толка,

впоследствии вспомнил: «Октябрьский переворот расколол партию эсеров, и я оказался в составе редакционной коллегии новой газеты “Знамя труда” вместе с Ивановым-Разумником, Марией Спиридоновой, Б.Д. Камковым, В. Трутовским и И.З. Штейнбергом. Вся литературная группа, лепившаяся возле Иванова-Разумника, перешла к нам, и у нас оказались такие поэты и писатели, как Александр Блок, Андрей Белый, Алексей Ремизов, Николай Клюев, Сергей Есенин, Сергей Клычков, Алексей Чапыгин, Арсений Авраамов, Евгений Лундберг, Константин Эрберг, Петр Орешин и другие. С переездом правительства в Москву переехали туда и мы, и, заняв предоставленный нам особняк в Леонтьевском переулке для центрального комитета левых эсеров и газеты “Знамя труда”, я стал фактическим руководителем ежедневной газеты в Москве <...> Мою работу в “Знамени труда” делила со мною жена Зинаида Вениаминовна <...> Есенин, которому тогда было 22 года, был ежедневным нашим посетителем, гостем, сотрудником, почти членом семьи. Наша частная квартира в две комнаты была на Моховой улице, в отеле “Националь”, прекрасно благоустроенная, конечно без кухни. Тем не менее, мы имели возможность и там принимать наших гостей: Иванова-Разумника, Есенина и Зинаиду Райх <...> Вскоре же я получил приглашение редактировать вторую газету – “Голос трудового крестьянства”, которая шла в деревню. Конечно, я немедленно пригласил Есенина участвовать и в этом издании <...> Две Зинаиды – Зинаида Вениаминовна и Зинаида Есенина очень подружились. От своей Зины я узнавал многие подробности жизни Есенина. Иногда он исчезал на несколько дней и пропадал неизвестно где с неизвестными людьми. Это было время его дружбы с Анатолием Мариенгофом, Вадимом Шершеневичем, Александром Кусиковым и другими представителями литературной богемы Москвы того времени”¹¹.

Сергей Есенин не только печатался в литературных органах левых эсеров, но и вступил в члены их партии. Во время жестоких боев в Москве в октябре 17-го года он даже записался в левоэсеровскую боевую дружину. В своей известной книге воспоминаний “Некрополь” Владислав Ходасевич так описывает встречи с Есениным: «Весной 1918 года я познакомился в Москве с Есениным. <...> Мы не часто встречались и почти всегда – на лю-

дах. Только раз прогуляли мы по Москве всю ночь, вдвоем. Говорили, конечно, о революции <...> Вращался он тогда в дурном обществе. Преимущественно это были молодые люди, примкнувшие к левым эсерам и большевикам, довольно невежественные, но чувствовавшие решительную готовность к переустройству мира. Философствовали непрестанно и непременно в экстремистском духе. Люди были широкие. Мало ели, но много пили. Не то пламенно веровали, не то пламенно кощунствовали. Ходили к проституткам проповедовать революцию – и били их. Основным образом делились на два типа. Первый – мрачный брюнет с большой бородой. Второй – белокурый юноша с длинными волосами и серафимическим взором, слегка “нестеровского” облика. И те, и другие готовы были ради ближнего отдать последнюю рубашку и загубить свою душу. Самого же ближнего – тут же расстрелять, если того “потребует революция”. Все писали стихи и все имели непосредственное касательство к ЧК. <...> Думаю, что Есенин знался с ними из небрезгливого любопытства и из любви к крайностям, каковы бы они ни были»¹².

Далее Ходасевич рассказывает о вечеринке, затеянной Алексеем Толстым. “Собралось человек сорок, если не больше. Пришел и Есенин. Привел бородатого брюнета в кожаной куртке. Брюнет прислушивался к беседам. Порою вставлял словцо – и не глупое. Это был Блюмкин, месяца через три убивший графа Мирбаха, германского посла. Есенин с ним, видимо, дружил. Была в числе гостей поэтесса К. Приглянулась она Есенину. Стал ухаживать. Захотел щегольнуть – и простодушно предложил поэтессе:

– А хотите поглядеть, как расстреливают? Я это вам через Блюмкина в одну минуту устрою”¹³.

Что скрывалось за этими словами Есенина? Были они блефом, эпатажем или просто неумным трепом под воздействием горячительных напитков – ответить невозможно.

Где и когда познакомились Блюмкин и Есенин, в точности неизвестно, но с большой долей вероятности можно полагать, что это произошло на одном из вечеров в каком-то из левоэсеровских клубов. Очевидно, Есенин и познакомил Блюмкина со своими приятелями-имажинистами. Он им пришелся по вкусу. Выразительны по-

священные ему дарственные надписи на книгах, которые сделали Есенин и Шершеневич.

Исследователь есенинской библиографии Н. Юсов приводит надпись на “Радунце”:

“Тов. Блюмкину с приязнью на веселый воспомин рызанского озорника. Сергей Есенин. Москва. Стойло. 26 янв. 21 г.”¹⁴

В 1995 г. на выставке в ГЛМ, посвященной столетнему юбилею Есенина, демонстрировался сборник стихов Шершеневича “Крематорий” (1919) с такой дарственной надписью Блюмкину: «Милому Яше – “террор в искусстве и в жизни” – наш лозунг. С дружбой Вад. Шершеневич». Интересно, что та же самая мысль варьировалась и в блюмкинских словах, обращенных к Есенину (в передаче бывшего секретаря “Ассоциации вольнодумцев” Матвея Ройзмана): “Я – террорист в политике, – однажды сказал он Есенину, – а ты, друг, террорист в поэзии!”¹⁵

Известно и стихотворение Шершеневича, посвященное Блюмкину и начинавшееся со строк:

“Другим надо славы, серебряных ложечек, // Другим стоит много слез. – // А мне бы только любви немножечко // Да десятка два папирос...”¹⁶

4

Впрочем, после провала левоэсеровского переворота Блюмкину было не до любви и не до поэзии. Ему пришлось изменить внешность, фамилию и бежать из Москвы сначала в Рыбинск, оттуда в Кимры, а затем кружным путем, по Савеловской железной дороге, в Питер. Позже он вспоминал: “Я жил в окрестностях Петрограда очень замкнуто – в Гатчине, в Царском Селе и др., занимаясь исключительно литературной работой, собиранием материала об июльских событиях и писанием о них книги”¹⁷. Скорее всего, он имел в виду предполагавшийся левыми эсерами к изданию, но так и не выпущенный сборник, посвященный разъяснению истинного смысла провалившегося “мятежа”.

Тем временем интерес к его фигуре в литературных кругах вырос неимоверно. Даже гораздо меньше, чем раньше, интересовавшийся политикой Блок зафиксировал в записной книжке: “Вечером почему-то...приходил

Мандельштам... Интересен рассказ об убийце Мирбаха” (запись от 20 октября 1918 г.)¹⁸.

Со слов Надежды Мандельштам известно, что Блюмкин однажды предложил ее мужу сотрудничать «в новом, еще только организуемом учреждении, которому он предсказывал великую будущность. По мнению Блюмкина, это учреждение должно было определить эпоху и стать средоточием власти <...>

Функции этого “нового учреждения” О.М. впервые понял во время стычки с Блюмкиным <...> Ссора О.М. с Блюмкиным произошла за несколько дней до убийства Мирбаха. По самой дате видно, что с понятием “чекист” тогда еще почти ничего не связывалось <...> Хвастовство Блюмкина, что он возьмет да пустит в расход интеллигентшу искусствоведа, довело другого хилого интеллигента, Мандельштама, до бешенства, и он сказал, что не допустит расправы. Блюмкин заявил, что не допустит вмешательства О.М. в “свои дела” и пристрелит его, если тот только посмеет “сунуться” <...>¹⁹.

Сведения о трениях Блюмкина с Мандельштамом сохраняются и в показаниях Петра Зайцева. В первых числах июля он повстречал чекиста и поэта у выхода из гостиницы “Эллит”, в № 221 которой в это время жили Блюмкин и Николай Андреев. Рядом с ним Зайцев заметил двух человек. «Одного из них я знаю по Одессе, — писал он, — это анархист Юрий Дубман, другого в первый раз увидел. Мне его представил Блюмкин поэтом Мандельштамом. Я попросил Блюмкина в сторону и напомнил ему о нашем вчерашнем разговоре (теперь уже “Цезарь” просил Якова о помощи в отправке на Украину. — Я. Л.). Он мне сказал, что не может дать ответа, но сумеет сказать через пару дней. Завязался общий разговор. Между прочим Блюмкин отозвал в сторону анархиста Юрия и стал ему что-то говорить. Я расслышал только следующие слова: “Мандельштам может проболтаться — он дурак, скажи ему...”»²⁰. Никакого комментария к сказанному Зайцев, увы, не сделал.

Составители хроники “Даты жизни и творчества” О. Мандельштама датируют его столкновение с Блюмкиным, когда поэт выхватил и порвал пачку “растрельных” ордеров, июнем 1918 г. Между тем Зайцев утверждал, что встретил их и Дубмана “за 2–3 дня до съезда”. Как известно, 5-й Всероссийский съезд Советов

открылся 4 июля. Допрос с Зайцева снимали по свежим следам, поэтому нет оснований не верить его датировкам. Таким образом, одно из двух: либо ссора произошла уже после этого, либо конфликт между ними был улажен.

В момент, описываемый Зайцевым, Блюмкин и Андреев еще не были назначены исполнителями террористического акта. Записавший выступление “романтического” чекиста в Исторической секции Дома печати Борис Козьмин фиксирует: “4 июля 1918 г. Блюмкина вызвали на заседание Ц.К. партии Л.С.-Р. и потребовали от него сведений о германском посольстве. Из вопросов выяснилось, что Ц.К. намерен организовать покушение на Мирбаха. Выполнение его предполагалось возложить на члена партии Шеварева, талантливого юношу, историка и лингвиста, убитого впоследствии бандами в Житомире, и еще на двух членов партии. Блюмкин предложил в качестве исполнителей акта себя и Андреева”²¹.

Так что слова о том, что “Мандельштам может проболтаться...”, – скорее всего не относились к теме покушения на Мирбаха. Если речь шла все-таки о злополучных ордерах, которые, видимо, были очередным блефом Блюмкина (его тогдашняя должность в ЧК не имела прямого отношения к расстрелам, и к тому же левые эсеры в коллегии ВЧК сопротивлялись развязыванию “красного террора”), то понятен его страх перед начальством и перед партийными лидерами.

Было бы крайне неверно выставять Мандельштама безоговорочным оппонентом или даже противником Блюмкина. В этот пока еще относительно вегетарианский период большевистской революции поэт сочувствовал “советским делам и людям”. Как он показал на допросе в 1934 г., “политическая депрессия”, “вызванная крутыми методами осуществления диктатуры пролетариата”, началась у него лишь с конца 1918 г.²² А идеи эсеров и анархистов были ему и самому не чужды. Ведь десять лет назад он тоже был пропагандистом в эсеровском рабочем кружке, а затем увлекся анархо-синдикализмом.

Во время кратковременной учебы в Гейдельбергском университете Мандельштам был близок с братьями Аароном и Исааком Штейнбергами. Последний играл крупную роль в послереволюционном левоэсеровском движе-

нии. Он, кстати, был убежденным сторонником “этического социализма”. Известен текст его заявления в ЦК левых эсеров, датированный 3 июня 1918 г.: “<...> Решение, принятое Ц.К. о смертной казни, настолько тяжело расходится с моими убеждениями, и настолько противоречит духу нашего мировоззрения, что я прошу освободить меня от несения ответственных работ в Партии. В качестве рядового работника Партии я буду продолжать оставаться членом Партии”²³.

Но Штейнберг не мог вмешаться в конфликт Блюмкина с Мандельштамом, так как в это время находился в Швейцарии. Зато это вполне мог сделать Борис Камков, также, очевидно, знавший Мандельштама по Гейдельбергу... (Одновременно с ними в стенах Гейдельбергского университета находились еще несколько будущих видных эсеровских деятелей, и среди них – Матвей Коган-Бернштейн и Надежда Брюллова-Шаскольская, пока еще не отмеченные мандельштамоведами.) Надо сказать, что поэт и в дальнейшем продолжал сотрудничать с левыми эсерами. Например, в 1919 г. в Киеве он поддерживал связь с Сергеем Мстиславским.

5

Очевидно, Мандельштаму было о чем поведать Блоку тем октябрьским вечером. Вероятней всего предположить, что взаимоотношения между чекистом и поэтом были куда более сложными, чем принято считать.

В этот момент сам Блюмкин находился в глубоком подполье где-то неподалеку. Судя по всему, он сильно переживал поражение левых эсеров и начавшийся раскол в их партийных рядах. Его не могли не волновать и продолжавшиеся репрессии против левых эсеров. После прошедшей 14 октября под их лозунгами демонстрации мобилизованных матросов Петроградский левоэсеровский комитет вторично подвергся разгрому, а зачинщики выступления были расстреляны. Вероятно, потеряв после этого связь с ЦК, Блюмкин, по его собственным словам, “самовольно” вернулся в Москву и добился направления его для подпольной работы на Украину. Вскоре, наделенный “широкими полномочиями” от ЦК, он выехал с группой боевиков в Курск и, успешно перейдя границу, оказался в Киеве.

В среде украинских “леваков” к этому времени уже наметились две противоположные тенденции. Большая часть заявившей о своем самостоятельном характере Украинской партии левых эсеров солидаризовалась с позицией российского ЦК (позже их стали называть “активистами”). Меньшинство придерживалось тактики единого революционного фронта со всеми другими левыми партиями и занимало позицию, схожую с “революционными коммунистами”. Поначалу Блюмкин определенно принадлежал к первому из течений. Так, при обсуждении вопроса о вхождении коммунистов в подпольный ревком в Жмеринке он даже разошелся со своим соратником по убийству Мирбаха Николаем Андреевым.

В промежутках между агитационно-пропагандистской и боевой работой Блюмкин, он же Вишневский, предавался амурным страстям. Предметом его тогдашнего увлечения была левая эсерка-подпольщица и “активистка” Лида Сорокина. О ней известно весьма немного, главным образом со слов Надежды Хазиной (будущей жены Мандельштама). Вот что она писала: «Мне пришлось встречаться с Блюмкиным еще до моего знакомства с О.М. Мы когда-то жили вместе с его женой в крохотной украинской деревушке, где среди кучки молодых художников и журналистов скрывалось несколько человек, преследуемых Петлюрой. После прихода красных жена Блюмкина неожиданно явилась ко мне и вручила охранную грамоту на квартиру и имущество на мое имя. “Что это вы?” – удивилась я. – “Надо охранять интеллигенцию”, – последовал ответ. Так женщины из рабочих дружин, переодетые монахинями, разносили иконы по еврейским квартирам 18 октября 1905 года. Они надеялись, что эта маскировка обманет погромщиков. Охранную грамоту как явную фальшивку, да еще на имя девчонки – мне было тогда восемнадцать лет, отец не предъявлял ни при одном из многочисленных обысков и реквизиций. Вот от этой женщины, спасавшей интеллигенцию такими наивными способами, и от ее друзей я слышалась об убийце Мирбаха и несколько раз встречала его самого, мелькавшего, исчезающего, конспиративного...»²⁴

Спустя несколько месяцев мемуаристка стала свидетельницей сцены, как Блюмкин “поприветствовал” Мандельштама револьвером. В своих воспоминаниях она да-

ла наиболее правдоподобное объяснение тому, почему террорист лишь пугал поэта.

«По мнению О.М., Блюмкин был страшным, но далеко не примитивным человеком. О.М. утверждал, что Блюмкин и не собирался его убивать: ведь нападений было несколько, но он всегда позволял присутствующим разоружать себя, а в Киеве сам спрятал револьвер... <...>

Второй вопрос – как совместить отвратительное хвастовство убийствами и поношение “интеллигентишки”, предназначенного в жертву, с деятельностью жены, нелепо, но активно спасавшей интеллигенцию? Возможно, конечно, что моя знакомая из украинской деревни была только одной из “случайных жен” Блюмкина, как часто бывало в той среде, и отнюдь не единомышленницей... Но с людьми формации Блюмкина никогда нельзя быть уверенным, что видимость соответствует сущности, и кое-кто готов допустить, что в его деятельности был второй скрытый план и своей гнусной болтовней о расстрелах “хилых интеллигентишек” он стремился вызвать недоверие к “новому учреждению”, где работал как представитель левых эсеров. В таком случае реакция О.М. была бы именно тем, чего он добивался, и именно потому кровавая месть не состоялась... Но в этом сможет разобраться только историк, который будет изучать это странное время и этого диковинного человека.

Мне же кажется, что второго плана не было, а мальчишки, делавшие в те дни историю, отличались мальчишеской жестокостью и непоследовательностью»²⁵.

Считавшаяся невестой Блюмкина Лида Сорокина принадлежала к той же породе “делателей” истории, но от своего возлюбленного отличалась гораздо большей последовательностью. Вместе с двумя другими левоэсеровскими боевиками из числа “активистов” – Арабадже и Пашутинским – она приняла участие в покушении на заподозренного в предательстве жениха²⁶. Но это произошло уже после его пленения петлюровцами, оправки после перенесенной болезни и явки в Губчека...

Зимой же 1919 г. Блюмкин, за голову которого немцы сулили огромные деньги, пребывал в самом зените славы. После занятия Киева красными он сделался секретарем Областного комитета левых эсеров. Все еще скрываясь под именем Григория Вишневого, он печатал про-

никновенные статьи в газете “Борьба” и заседал в президиуме партийной конференции украинских “леваков”.

Надо полагать, что заглядывал он и в “Кафе ХЛАМ”, где собирались художники, литераторы, артисты и музыканты (отсюда и название). Тем более что как раз в это время в Киев наведались его друзья, поэты-имажинисты Мариенгоф и Шершеневич. Однако подолгу засиживаться в гостях у служителей муз не позволяла обстановка. Гражданская война на Украине была в самом разгаре.

6

Во второй половине февраля 1919 года по всем крупным городам России, Украины, Белоруссии и Литвы прокатилась очередная волна арестов левых эсеров. А в марте украинские однопартийцы Блюмкина окончательно разделились на две партии – непримиримых “активистов” и лояльных к большевикам “борьбистов”. Отчего Блюмкин не вступил во влиятельную на Украине партию “борьбистов”, а предпочел ей марионеточный “Союз максималистов”, – остается неясным. Возможно, тут сыграли роль какие-то личные симпатии и антипатии (например, знакомство с упоминавшимся Светловым). Кроме того, он считал себя гражданином РСФСР, а прокоммунистическое Центральное бюро “Союз максималистов”, имевшее небольшое представительство во ВЦИК, могло взять его под свою защиту.

8 мая Блюмкин находился уже в Москве, где предстал перед Особой следственной комиссией ВЦИК по его делу. Через неделю он был официально амнистирован. В ответ на это после возвращения Блюмкина в Киев левые эсеры-“активисты” дважды предприняли покушения на него. Не на шутку испугавшемуся Блюмкину ничего не оставалось делать, как обратиться к представителям трех формально независимых политических течений: анархистам-коммунистам, “борьбистам” и “революционным коммунистам” – с просьбой рассмотреть его дело в межпартийном товарищеском суде. Участник этого суда – бывший член ЦК Партии революционного коммунизма Георгий Максимов в начале 1970-х сообщил интервьюировавшим его составителям самиздатовского сборника “Память” следующее: «Документов, что Блюмкину “за так” удалось себя амнистировать, в распоряжении суда

не было, как не было документов и о выдаче им своих товарищей, а косвенные улики – частые посещения им ВЧК, которых не отрицал и Блюмкин, не давали нам права обвинить его в предательстве»²⁷.

В Москве Блюмкин теперь искал знакомства не только в поэтической, но и в кремлевской среде. Мобилизованный “Союзом максималистов” в Красную армию, он недолго служил комиссаром в Политуправлении и вместе с сестрой Троцкого О. Каменевой инспектировал Поволжский округ. По свидетельству известного партийного советского редактора Ивана Гронского, повстречавшего Блюмкина в гостях у Горького, “Алексея Максимовича он заинтересовал”. Сотрудники Реввоенсовета говорили Матвею Ройзману в 1920 году о том, что “наркомвоенмор (Троцкий. – Я. Л.) считает Блюмкина храбрым человеком, сорвиголовой”. Уже в это время его положение настолько упрочилось, что заступничества Блюмкина было достаточно, чтобы освободить из-под ареста Шершеневича, арестованного по делу “анархистов подполья”. Несколько позже под его поручительство были освобождены арестованные по ложному доносу МЧК Есенин и братья Кусиковы.

Живописный портрет террориста, ставшего теперь по заданию РВС Южного фронта, после беседы со Сталиным и Серебряковым, разведчиком и диверсантом, дал коминтерновец и писатель Виктор Серж (Кибальчич) в своих “Воспоминаниях революционера”: «Я знал Якова Григорьевича Блюмкина с 1919 года и любил его. Его невероятно худое, мужественное лицо обрамляла густая черная борода, темные глаза были тверды и непоколебимы. Блюмкин жил тогда в ледяной неотапливаемой комнате в “Метрополе”, рядом с комнатой Чичерина. Оправляясь от перенесенной болезни, он готовился к руководству деятельностью спецслужб на Востоке...

В 1920–1921 годах он был послан в Персию для того, чтобы начать революцию вместе с Кучек-ханом, – в Гилян на побережье Каспия. И я встретил его снова в Москве в униформе Академии Генштаба, еще более мужественного и с еще более гордой осанкой, чем прежде. Его суровое лицо было гладко выбрито, высокомерный профиль напоминал древнееврейского воина. Он декламировал стихи Фирдоуси и печатал статьи в стиле Фоша в “Правде”. – “Моя “персидская повесть”? Там было нас

несколько сотен – плохо экипированных русских. Однажды пришла телеграмма от Центрального Комитета: “Умерьте ваш пыл, революция в Иране сейчас идет на попятную...” А мы ведь могли взять Тегеран”.

Я видел его позднее по возвращении из Улан-Батора, где он напрямую занимался организацией спецслужб Монгольской Народной Республики. Разведслужба Красной Армии отправляла его с заданиями в Индию и Египет. Он останавливался в Москве в маленькой комнате в районе Арбата. Он сидел, обернувшись пледом на роскошном стуле, подаренном монгольским принцем. И перекрещенные сабли висели над бутылками превосходного вина»²⁸.

В середине 20-х Блюмкин жил в номенклатурном доме в Денежном переулке (по соседству со зданием бывшего посольства Германии, где он убивал Мирбаха), на одной лестничной площадке с квартирой Луначарского и Розенель. А “униформой”, в которой он ходил, была форма слушателя Восточного отделения Военной Академии РККА, которую он носил с начала 1920 года. Большевики активно использовали для закордонной работы богатый боевой опыт бывших “борьбистов”, анархистов, максималистов и прочих бомбистов.

Там же, в Академии, Блюмкин познакомился со своей будущей женой – Татьяной Файнерман, студенткой-медичкой, мобилизованной в армию летом 1920 г. Она была дочерью литератора-толстовца, известного под псевдонимом Тенеромо, и впоследствии училась в Высшем литературно-художественном институте им. Брюсова. От этого брака (позже распавшегося) у Блюмкина родился сын Мартин.

7

В начале 1920-х гг. Блюмкин был активным членом Исторической секции Дома Печати. Секция, созданная в самом начале 1921 г., организовывала чтения докладов из истории общественного движения в России, революции и гражданской войны. Блюмкин, разумеется, считал себя вполне “исторической” фигурой и разделял членство в секции с такими известными людьми, как историки-марксисты Покровский и Ольминский, народо-волки Вера Фигнер и Якимова-Диковская, участник Парижской коммуны и соратник Бакунина Михаил Сажин

(Арман Росс), историк-меньшевик Борис Николаевский и т. д. Возглавлял секцию еще один известный историк-марксист, директор Румянцевской библиотеки Владимир Невский.

Блюмкин по крайней мере дважды выступил на секции с докладами: о покушении на Мирбаха и о подпольной работе на Украине в 1918 г.

Здесь же, в Доме печати, осенью 1920 г. у него произошел очередной инцидент с Мандельштамом, зафиксированный Ильей Эренбургом: «Он (Мандельштам. – Я. Л.) сидел в другом углу комнаты. Вдруг выскочил Блюмкин и завопил: “Я тебе сейчас застрелю!” Он направил револьвер на Мандельштама. Осип Эмильевич вскрикнул. Револьвер удалось вышибить из руки Блюмкина, и все окончилось благополучно»²⁹.

Игра чекиста с поэтом, метко названная Надеждой Яковлевной “кавказской”, закончилась в январе 1926 г., когда, уезжая от жены из Крыма, Мандельштам случайно оказался с ним в одном купе: «Блюмкин, увидав “врага”, демонстративно отстегнув кобуру, спрятал револьвер в чемодан и протянул руку. Всю дорогу они мирно разговаривали»³⁰. Если только мемуаристка не ошиблась с датировкой, то можно почти безошибочно предположить, что главной темой разговора было недавнее самоубийство Есенина. Остановившись затем на один день в Москве, Мандельштам говорил на ту же тему с Пастернаком. Связать воедино и реконструировать эти две беседы – задача непростая. Хотя бы потому, что в дорожных письмах поэта в Ялту нет даже намека на встречу с Блюмкиным и размышления о судьбе Есенина.

¹ Катаев В.П. Алмазный мой венец: Роман; Уже написан “Вертер”: Повесть. М., 1990. С. 259–260.

² Никитина В.Р. Дом окнами на закат: Воспоминания. М., 1996. С. 96.

³ Левые эсеры и ВЧК: Сб. документов. Казань, 1996. С. 111–112. О П.А. Зайцеве и Б.Г. Черкунове и их связях с А.Г. Железняковым см. также: Леонтьев Я.В. Пасынок революции: Красная дьяволиада матроса Железняк // Родина. М., 1997. № 1.

⁴ Красная книга ВЧК. М., 1990. Т. 1. С. 183.

⁵ ЦА ФСБ. Д.Н-8. Т. 2. Л. 1–2. Более подробный источниковедческий анализ и критический разбор показаний П.А. Зайцева дается в сборнике статей и материалов о Я.Г. Блюмкине, намеченном к выходу в издательстве “Современник”.

- 6 Там же. Л. 21–22.
- 7 Там же. Л. 2–4.
- 8 РЦХИДНИ. Ф. 564. Оп. 1. Д. 11. Л. 5.
- 9 Знамя труда. 1918, 28 апреля; 31 мая.
- 10 Штейнберг А.А. К верховьям: Собр. стихов; О Штейнберге: Материалы к биографии. Мемуары. Заметки. Стихи. М., 1997. С. 302.
- 11 Левин Вен. Есенин в Америке // Русское зарубежье о Есенине. М., 1993. Т. 1. С. 213–214. (Псевдоним “К. Эрберг” и отчество З.В. Гейман исправлены мною. – Я. Л.)
- 12 Ходасевич В.Ф. Некрополь: Воспоминания. М., 1991. С. 142–143.
- 13 Там же. С. 143–144.
- 14 Юсов Н.Г. “С добротой и щедротами духа...”: Дарственные надписи Сергея Есенина. Челябинск, 1996. С. 28.
- 15 Ройzman М.Д. Все, что помню о Есенине. М., 1973. С. 111.
- 16 Цит. по: Овруцкий Л., Разгон Л. Яков Блюмкин: Из жизни террориста // Горизонт. 1991, № 12. С. 55.
- 17 Красная книга ВЧК. М., 1990. Т. 1. С. 302.
- 18 Блок А.А. Записные книжки. 1901–1920. М., 1965. С. 432.
- 19 Мандельштам Н.Я. Воспоминания. Париж, 1982. С. 111–112.
- 20 ЦА ФСБ. Д.Н-8. Т. 2. Л. 15.
- 21 “Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем...” / Публ. Я. Леонтьева // Родина. М., 1993. № 8–9. С. 170.
- 22 Шенталинский В.А. Рабы свободы: В литературных архивах КГБ. М., 1995. С. 232.
- 23 РЦХИДНИ. Ф. 564. Оп. 1. Д. 15. Л. 18.
- 24 Мандельштам Н.Я. Указ. соч. С. 109.
- 25 Там же. С. 113–114.
- 26 Левые эсеры и ВЧК. Казань, 1996. С. 474–475; Дантоны и Робеспьеры русской революции: Из истории левоэсеровского мятежа / Публ. Я. Леонтьева // Независимая газета. М., 1996, 26 июля.
- 27 Максимов Г. Суд над Я. Блюмкиным в 1919. Деньги для партии // Память. Париж, 1980. Вып. 4. С. 380.
- 28 Serge Victor. Memoirs of a Revolutionary. London, 1984. P. 255–256.
- 29 Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь: Воспоминания. М., 1990. Т. 1, кн. 2. С. 323.
- 30 Мандельштам Н.Я. Указ. соч. С. 110.

А. Дейч

ДВЕ ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ

Продолжаю расшифровывать дневники Александра Иосифовича Дейча киевского периода его жизни. Он родился в Киеве и жил в этом городе до ноября 1925 года.

К сожалению, записи в дневнике за 1919 год велись черным жирным карандашом, который по истечении многих лет расплылся на страницах и текст одной отпечатался на другой. Читать очень трудно. Помог знакомый научный сотрудник Института криминалистики. Там читали при помощи лазера даже густо зачеркнутый текст, и мне свободно прочитали тексты некоторых записей.

В дневнике Дейча за 1919 год упоминаются многие деятели театра, литературы, искусства – писатели, художники, актеры. Круг общения был широким. Во время первой мировой войны, когда в Петрограде и Москве было голодно, многие переехали на Украину. Перечислю имена, упоминаемые в дневнике: Лесь Курбас, Мария Заньковецкая, Станислава Высоцкая, Вера Юренева, Леонид Кузнецов, Анатолий Петрицкий, Георгий Нарбут, Александра Экстер, Исаак Рабинович, Нисон Шифрин, Владимир Татлин, Павло Тычина, Максим Рыльский, Генрих Нейгауз, Сигизмунд Кржижановский, Илья Эренбург, Константин Марджанов...

Дейч писал в своих поздних воспоминаниях “Голос памяти”: «В подвале гостиницы “Континенталь” открылось кафе ХЛАМ (художники, литераторы, артисты, музыканты). Там читали стихи, исполнялись музыкальные произведения, художники выставляли свои картины, устраивались диспуты и обсуждения театральных спек-

таклей. Пожалуй, киевский ХЛАМ не уступал московским кафе “Стойло Пегаса” и “Домино”.

Теперь два фрагмента из записей в дневнике: «1 мая 1919 Bon anniversaire. По метрике и ст. ст. – мой день рождения. Прошел он бурно, в кругу друзей. И в городе жизнь бурлила – толпы на Думской, Марджанов повсюду воздвигнул триумфальные арки, яркие транспоранты, сценические площадки. Г. Нейгауз играл (на грузовике, превращенном в эстраду). Поэты читали стихи, сменяя друг друга. После премьеры в Соловцовском (“Овеч[ий] ист[очник]) пошли с Верой Юреновой и Г. Крыжицким в ХЛАМ. Составили столики, к нам присоединились Тычина, Альшванг, Терапиано, Петрицкий, Г. Нарбут, Н. Хазина, И. Эренбург. Поздравляли меня с днем рождения. Тычина читал стихи из моих любимых “Соняшніх кларнет”. Читал вдохновенно, радость на душе. Поздравляли В[еру] Л[еоновичу] с успехом в роли Лауренсии. Спектакль получился впечатляющим. Неожиданно вошел О[сип] Манд[ельштам] и сразу направился к нам. Я по близорукости сначала не узнал его, но он представился: “Осип Мандельштам приветствует прекрасных киевлянок (поклон в сторону Нади Х[азиной], прекрасных киевлян (общий поклон)”. Оживленная беседа. Он ни разу меня не упрекнул за мою во многом субъективную и задиристую рецензию в ЖЖ (“Журнале журналов”. – *Е. Д.*). Попросили его почитать стихи – охотно согласился. Читал с закрытыми глазами, плыл по ритмам... Открывая глаза, смотрел только на Надю Х. Видно...» (далее две строки по-французски, моему, из Верлена, но надо найти...).

И вторая запись, где упоминается имя Осипа Мандельштама: «23 мая 1919. Польская кофейня на паях... С Мишей Сандомирским. Он читал новые стихи, я критиковал, он обижался. Подошедший Н. Фореггер прервал конфликтную ситуацию, слава Богу... Подсели Нарбут и Экстер. Появилась явно влюбленная пара – Надя Х. и О.М. Она с большим букетом водяных лилий, видно, были на днепровских затонах... О.М. расспрашивал о киевских журналах и театрах. Надя хотела повести его на “Овечий источник”. Успех спектакля поразительный...»

Работа по расшифровке дневников Дейча продолжается.

Публикация Е. Дейча

Р. Тименчик

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ В БАТУМИ В 1920 году¹

Ранней осенью 1920 г. Осип Мандельштам попал из врангелевского Крыма в Батуми. Подробности его пребывания в меньшевистской тюрьме описаны в его собственных очерках. А о том, как Тициан Табидзе и Николо Мицишвили хлопотали за него перед батумским генерал-губернатором, рассказано в мемуарной “Эпопее” Мицишвили².

12 сентября 1920 г. тбилисская газета “Слово” сообщала: “Прибыл из Феодосии поэт *Ос. Мандельштам*. *Вследствие недоразумений с визой О. Мандельштам некоторое время находился под арестом*”³. После выхода на свободу Мандельштам обнаружил в Батуми некоторых из своих знакомых по довоенному Петербургу. Во-первых, Илью Михайловича Зданевича. Илья Зданевич, чье имя теперь неотделимо от биографии Нико Пироманишвили, в 1913–1914 гг. активно участвовал в футуристических выступлениях (в ту пору он, впрочем, называл себя “всеком” и был единственным представителем “всечества”). С Мандельштамом он был знаком по прославленной “Бродячей собаке”. Оба они были завсегдатаями этого литературно-художественного кабаре. В стихотворении Владимира Пяста, перечисляющем поэтов, постоянно выступавших в этом подвале, наряду с Маяковским, Хлебниковым, Мандельштамом, А.Н. Толстым назван и Илья Зданевич: “Бесконечно-приязненный всек”⁴.

Вторым давним знакомцем был Николай Васильевич Макридин. Макридин был инженером-мелиоратором, он

писал стихи, переводил, выступал с лекциями о литературе (в Батуми он делал доклады о Льве Толстом, о футуристах, о пролетарском искусстве). В конце 1911 г. он стал членом петербургского Цеха поэтов, точнее сказать – одним из самых первых его членов, наряду с Мандельштамом, Анной Ахматовой, Михаилом Лозинским и другими. Привлек его в этот замкнутый и высокотребовательный поэтический кружок, по-видимому, Сергей Городецкий, который писал Корнею Чуковскому в 1921 г.: *“Поэт Макридин, передающий Вам это письмо, мой петербургский цеховой, забатумевший здесь”*⁵. В 1920-е гг. Макридин был близок с Андреем Белым. В 1950-е гг. Макридин встречался с Ахматовой, и они вспоминали эпизоды своей литературной молодости (мне, к сожалению, не известно, сохранился ли архив этого интересного человека, свидетеля важных моментов истории русской поэзии).

В Батумском ОДИ (Обществе деятелей искусства), вероятно по инициативе Макридина, 19 сентября 1920 г. был проведен вечер Мандельштама. В этот день в газете появилась заметка о петроградском поэте: *«...Это имя всегда с любопытством встречал на страницах журналов искатель прекрасного, а в предреволюционные годы оно приобрело широкую известность в публике обеих северных столиц. Мандельштам – весь форма и мысль, сгущенная до плотности бронзы. Свод – тяжесть, победившая самое себя, – служит эмблемой его творчества. Недаром последняя книга его называется “Камень”. Стиль его стар, как пирамида. От спекулянтской (на Бога и на революцию) поэзии наших дней он тянется, минув символизм с его “la musique avant toute choses”⁶, к архитектурности и простоте, к “Анчару” Пушкина. И еще дальше: к тому египетскому каменотесу, который выбирал для своих статуй непременно самый твердый материал, чтобы, не нарушая его глыбкости, придавать ему то сильные, то нежные, но всегда простые формы. Таков Мандельштам. В наши дни, когда души вброшены в тигель революции более разрушительной, чем думают сами ее деятели, тугоплавкие образы Мандельштама неизменно успокоительны. Они за порогом аполлонической красоты»*⁷.

Отчет о вечере появился в “Батумской жизни”. Он был подписан “В.З.” Несомненно, это инициалы живше-

го тогда в Батуми поэта В. Зданевича, стихи которого напечатаны в вышедшем в том же году в Батуми альманахе “Кривой Арлекин” (альманах двуязычный, грузинско-русский). Вот как проходил вечер:

«...Вступительное слово И. Зданевича представляло собою “non multa sed multum”⁸. Поэзия О. Мандельштама, одного из лучших представителей петербургской поэтической школы акмеистов, прежде всего обращает внимание своей музыкальностью. Природа музыкальности лежит в долготе звука, которой так мастерски оперирует поэт в своих стихах. Внимание поэта покоится исключительно на гласных – согласные в пренебрежении. Отсюда, заключает И. Зданевич, поэтическая концепция О. Мандельштама уподобляется геометрическим построениям, абстрактность которых также совпадает с содержанием его поэзии.

Н.В. Макридин в своем несколько затянувшемся слове поделился с публикой своими мыслями о той школе, к которой принадлежит поэт, и привел длинный ряд деталей из стихов О. Мандельштама, которые, по мнению докладчика, характерны для поэта.

Поэт О. Мандельштам выступил с чтением своих стихов в двух отделениях. В первом он читал стихи, вошедшие в его книгу “Камень” (Петроград, 1916), а во втором – позднейшие стихи. Читка стихов у поэта очень своеобразна. Когда поэт читает, он отдается только мерности, только ритму. Точно далькрозовское⁹ упражнение. И логические ударения, и значимость слов, и словесная инструментовка стиха – все приносится в жертву ритму. В этом, правда, своеобразие, но и значительная потеря красот собственной поэзии.

Переполненная аудитория студии очень внимательно слушала поэта и наградила его аплодисментами»¹⁰.

Замечания Ильи Зданевича крайне любопытны. Они опираются на некоторые строки Мандельштама (например, “Есть иволги в лесах, и гласных долгота – // В тонических стихах единственная мера”, 1914) и на впечатления от его авторской читки, для которой, по замечанию исследователя поэтической декламации С.И. Бернштейна, было характерно “мелодическое раскачивание гласных звуков”¹¹. Независимо от Ильи Зданевича тот же тезис выдвинул спустя два года Борис Эйхенбаум, писавший, что у Ахматовой и Мандельштама, в отличие от

символистов, “внимание перешло от согласных к гласным”¹².

Из Батуми Мандельштам направился в Тбилиси, где и встретился с Ильей Эренбургом, который рассказал об их совместных тбилисских днях в книге “Люди, годы, жизнь”. 26 сентября в консерватории состоялся вечер, на котором Эренбург читал доклад “Искусство и новая эра” и свои стихи, Мандельштам – стихи из “Камня” и позднейшие, а петроградский актер Н.Н. Ходотов читал стихи обоих поэтов¹³.

Из Тбилиси через Москву Мандельштам вернулся в свой город, “знакомый до слез”, где 21 октября публично читал те же стихи, что в Батуми и Тбилиси. Александр Блок, слушавший это чтение, записал в дневнике: “виден артист”¹⁴. “Человек-артист” было в языке Блока одной из высших похвал.

¹ Настоящая заметка продолжает и развивает тему, связанную с пребыванием О. Мандельштама в Грузии в 1920 году (см. также: *Нерлер П.* “Из Крыма пустился в Грузию...” // Литературная Грузия. 1987. № 9. С. 197–203; *Парнис А.* Заметки о пребывании Мандельштама в Грузии в 1921 году // *L'Avanguardia a Tiflis. Venezia*, 1982. P. 211–227). – *Ред.*

² *Мицисвили Николо.* Пережитое. Стихотворения. Новеллы. Воспоминания. (Пер. с груз.). Тбилиси, 1963. С. 164–165.

³ Слово. Тифлис. № 208. С. 3.

⁴ *Пяст В.* Встречи. М., 1929. С. 262.

⁵ ОР РГБ. Ф. 620.

⁶ “Музыка – прежде всего” (*франц.*).

⁷ “Эхо Батума”. 1920. № 60, 16 сентября. Заметка подписана: “Б”.

⁸ “Немногое, но о многом” (*лат.*).

⁹ *Далькроз (Жак-Далькроз) Эмиль* (1865–1950) – французский композитор, создавший в 1906 г. новую систему ритмической гимнастики, снискавшую впоследствии большую популярность.

¹⁰ Батумская жизнь. 1920. № 63, 18 сентября.

¹¹ *Бернштейн С.И.* Голос Блока // Блоковский сборник. Вып. 2. Тарту, 1972. С. 469, 495.

¹² *Эйхенбаум Б.* О поэзии. Л., 1969. С. 120.

¹³ Слово. 1920. № 216, 24 сентября. В театральной студии, руководимой Н.Н. Ходотовым в Тбилиси, Мандельштам провел занятие с актерами (см.: *Ходотов Н.Н.* Близкое – далекое. Л.; М., 1962. С. 267).

¹⁴ *Блок А.* Собрание сочинений. Т. 7. М.; Л., 1963. С. 371.

Б. Горнунг

ЗАМЕТКИ К БИОГРАФИИ О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА

В еще только частично разобранном большом архиве (научном, литературном, фамильном) моего отца – Б.В. Горнунга¹, помимо нескольких автографов О.Э. Мандельштама², сохранились и черновые наброски записок о встречах с О.Э. Безусловно, записки должны были составить единый текст, что видно, например, из “рабочего” заголовка подборки – “Анекдотические записки к биографии О.Э. Мандельштама периода его жизни в Москве (1923–1928) и наездов в Москву в ближайшие после этого годы (1929–1933)”.

Прозвучавшие впервые в 1990 г. в моем сообщении на “Кузминской конференции” в санкт-петербургском музее А.А. Ахматовой заметки Б.В. о М.А. Кузмине – из той же группы архивных материалов, но они имеют довольно заверченный вид³. Заметки же об О.Э. остались местами просто недописанными, мало связанными друг с другом, хотя они и готовились для незавершенной книги Б.В., которую он сначала именвал “Записки о поколении двадцатых годов”, а затем просто – “Воспоминания о двадцатых годах”.

Публикуя те или иные отрывки из этой неоконченной рукописи Б.В., целесообразно, не боясь возможности некоторых повторений, привести из нее один-два абзаца, раскрывающие немного личность автора, чувствовавшего себя, как он пишет, “морально обязанным зафиксировать виденное и слышанное хотя бы в рукописи, которой, может быть, никогда не суждено будет попасть в печать”. Не забудем, что это писалось в начале 1970-х гг., когда даже самый неистовый оптимист не мог представить себе обстановку в России 1990-х гг.

Далее мы читаем: «...я, конечно, меньше всего думаю о каком-либо своем творческом участии в культурной жизни тех лет. Если в ней и была какая-то моя ...доля или “долька”, не мне об этом судить. Но остается фактом, что я, в силу сложившихся обстоятельств моей биогра-

фии, находился по крайней мере с конца 1920 по конец 1927 года в самой гуще московской культурной жизни, но был связан и с Петербургом (название “Петроград” в начале 1920-х годов почти исчезло из обиходной интеллигентской речи...), часто бывал там, встречался с приезжавшими петербуржцами, переписывался со многими из них. Конечно, основное это Москва: студенческие организации 1920–1921 гг., Московский Лингвистический кружок, “Вольная академия духовной культуры”... и множество эфемерных литературных кружков...и, наконец, Государственная академия художественных наук..., постепенно централизовавшая культурную творческую жизнь...»

Заметки Б.В. о Мандельштаме с небольшими моими комментариями были в январе 1991 г. прочитаны на конференции в Санкт-Петербурге, посвященной 100-летию со дня рождения О.Э., и вызвали интерес к ним. В 1993 г. они были подготовлены к публикации в одном из Мандельштамовских сборников. Это вполне законченный маленький рассказ о возникновении эпиграммы О.Э. “Горнунгам” и довольно трудно поддающиеся расшифровке заметки об эпизодах, связанных с нападками на О.Э. из-за якобы совершенного им плагиата в переводах.

Публикация сильно задержалась, а за это время, разбирая материнский архив, я нашел пачку отцовских писем к ней в 20-е годы, когда она со мной почти каждый год уезжала на все лето на Украину. Отец помнил об этих письмах и даже упоминает одно из них в заметках об О.Э., но либо считал их утраченными, либо не надеялся найти в сотнях папок, конвертов, связок семейного архива. Мне представляется, что эти письма интересны вообще, а в данном случае относительно О.Э. интересны вдвойне: как точно датированное свидетельство о тех или иных событиях в литературном мире того времени, но в то же время и как эмоциональная оценка этих событий их современником. Любопытно также, что можно сравнить почти документальные записи о фактах и их оценке с изложением того же и тем же автором, но примерно полвека спустя. Такое сравнение полезно, думается, для выводов о любых мемуарах.

Выдержки из указанных писем, касающиеся прямо или косвенно О.Э., приводятся в Приложении к заметкам. Несмотря на краткость и отрывочность публикуемых здесь материалов, они все же добавляют что-то новое, человеческое и теплое к нашим представлениям об облике и личности замечательного поэта с трагической судьбой.

¹ *Борис Владимирович Горнунг* (1899–1976) – коренной москвич, лингвист и литературовед, доктор филологических наук. После окончания Московского университета (классическая филология, сравнительное языкознание) Б.В. в 1922–1926 гг. – научный сотрудник ГАХН, в 1927–1934 гг. – сотрудник ряда крупнейших библиотек, в 1935–1938 гг. – на договорной литературной работе, в 1939–1958 гг. –

в АН СССР (ИМЛИ, Институты языкознания, русского языка). Выйдя на пенсию, много трудился над несколькими книгами (о русской поэзии первой трети XX в., об античных мотивах в раннем христианстве и др.), оставшимися незавершенными из-за его внезапной кончины от “просмотренного” инфаркта миокарда. Биографический очерк этого энциклопедически эрудированного гуманитария предполагается опубликовать в ближайшем будущем вместе с частью его по существу еще не издававшегося поэтического наследия.

² Записка по поводу участия в работе Московского Лингвистического кружка в 1920-х гг., несколько известных теперь стихотворений 1930-х гг.

³ Примерно через полгода, в том же 1990 г., М.О. Чудакова поспешила опубликовать в малотиражном рижском сборнике “Пятые Тыняновские чтения” оказавшийся у нее и пролежавший почти 14 лет втуне вариант этих заметок о Кузмине, сопроводив их, увы, местами поверхностными, неточными и даже, на наш взгляд, не вполне нравственными комментариями.

І. Экспромт О.Э. Мандельштама – “Горнунгам” (1927 г.)

У вас в семье нашел опору я –
Предупредительность, которая
Меня сумела воскресить,
И долго будет крыса хвора
Признательна за помощь скорую,
Которую нельзя забыть.

Обстоятельства возникновения этой эпиграммы. В мае 1927 г. я должен был быть в Гослитиздате у В.И. Нарбута вместе с Мандельштамом, Бенедиктом Лившицем и Михаилом Зенкевичем по поводу составленного Мандельштамом и Лившицем обширного массового издания сокращенных переводов западных классиков (план не осуществился из-за резкого протеста ленинградской группы – Томашевского, Жирмунского, Эйхенбаума, Тынянова, считавших это предприятие “халтурой”).

Решено было, что после беседы с Нарбутом мы с О.Э. пойдем в гости к нам на Балчуг; Н.Я. знала это, приехала туда раньше и сидела с моими братьями – Львом и Юрием¹.

Мы пошли из Черкасского переуллка пешком через Ильинские ворота и спустились к Москве-реке. Здесь Мандельштаму пришла в голову идея: “Давай взлезем на

Китайгородскую стену”. Я пытался разубедить его (стена тогда была полуразрушена), говоря, что нас заберут в милицию. Но такие убеждения мои не могли иметь успеха: “Ну что же! Заберут и отпустят!”

Мы благополучно вскарабкались около угловой башни, прошли по развороченной стене до Москворецкого моста. Мандельштам умилялся на кусты и березки между камнями, вспомнив строчки одного моего стихотворения (“Домовые по стенам шарят, А березки растут из расщелин, Вечер хмурится, церкви ждут, Чтобы в мутном, огненном шаре...”) из “Похода времени”², поражая меня своей памятью на стихи... Я же спародировал четыре строки его стихотворения “В разноголосице девического хора...”

Вместо – И с укрепленного архангелами вала
Я город озираю на чудной высоте.
В стенах Акрополя печаль меня снедала
По русскому имени и русской красоте³ –

я сочинил – И с разрушаемого Моссоветом вала
Мы город видели на малой высоте.
Советскими ветрами нас сдувало,
И мы сквозь дыры шли, как в решете.

Мандельштаму это понравилось. Мы двинулись дальше на Балчуг, но уже на Москворецком мосту он стал ныть, что его продуло на стене, его лихорадит и он чувствует, что “уже заболевает”. Когда мы пришли к нам домой, Н.Я. разволновалась еще больше него. О.Э. дали аспирин, поставили градусник, температура оказалась нормальной. Он выпил горячего чая с каким-то остававшимся у нас на дне бутылки алкоголем и сразу “воскрес”, оживился. Читали стихи, дурачились, а уходя, в передней О.Э. и произнес приведенную выше эпиграмму. Весь этот эпизод был тогда же описан мною в письме к жене, которая с сыном гостила в Глухове⁴.

II. По поводу подобия пощечины Мандельштама А. Толстому

О.Э. Мандельштам при своей крайней (болезненной) возбудимости, не проходившей долгое время после нача-

ла “вспышки”, готов был в любой момент полезть в драку в противоположность столь же возбудимому Андрею Белому. Последний заявлял – не раз даже на заседаниях: “Если Вы не откажетесь от своих слов, я нанесу Вам оскорбление действием”, – а потом впадал в буйную истерику, его выводили под руки в соседнюю комнату, откуда он через 10–15 минут возвращался и шел извиняться. Это рассказывал мне очень близкий ему Г.Г. Шпет, но “вспышки” А. Белого, пугавшие присутствующих, бывали и при мне (в кружке П.Н. Зайцева и даже в ГАХНе). Только самому Г.Г. Шпету Андрей Белый позволял говорить все что угодно, и это всех удивляло.

У Мандельштама все это было не так: обиду он затаивал на годы (смотри его отзыв о Д.Д. Благое в “Четвертой прозе”). При одной драке О.Э. я сам случайно присутствовал. Зимой 1923–1924 гг. (как будто уже в начале 1924 г.) в помещении оперы Зимина (ныне Театр оперетты) на Большой Дмитровке должно было быть какое-то очень большое собрание писателей, художников, деятелей театра и пр. с выступлениями Луначарского, Каменевой, П.С. Когана и др. Придя незадолго до начала, я разделся в гардеробе, хотел подниматься по лестнице и увидел, что сверху на площадке стоят, громко разговаривая и жестикулируя, О.Э. и поэт-имажинист Матвей Ройзман. И вдруг я вижу, что они, сцепившись, покатались “клубком” вниз по лестнице... Ройзман, вскочив, побежал и куда-то скрылся. Мандельштам же подняли, отряхнули, но он все вырывался, крича: “Где он? Где он? Я должен его бить!”

На собрание после этого мы не пошли, и я не знаю, что там было. Видел, как проходили туда Мейерхольд, Маяковский, Шершеневич и др. Никто из них с нами не заговаривал, ограничивались раскланиванием. Мы же оделись и пошли пешком по Дмитровке и бульварам, зашли за Н.Я. и отправились в писательский ресторан, выведенный позже Булгаковым в “Мастере и Маргарите” под названием “Грибоедов”. По дороге я не смог выведать у О.Э., что же именно произошло у него с Ройзманом, а на удивленный вопрос Н.Я., почему мы вернулись, пришлось ответить мне, что О.Э. повздорил с кем-то и мы решили уйти. В ресторане к нам троим подсели Н. Бернер с женою, Вл. Масс (тогда еще только поэт) и кто-то еще. Было очень оживленно, но О.Э. сидел мрачный и ничего

не пил (он и вообще мог выпить одну-две рюмки самого легкого вина, и то или “на брудершафт”, или при каком-либо тосте, вызвавшем у него горячую симпатию).

Обилию имажинистов в компании, собравшейся в “Грибоедове”, не должно удивляться. Дело в том, что за год-полтора до этого, в кратковременный период существования журналов “Гостиница для путешественников в прекрасном” и “Корабль” (издавался в Калуге, но почти весь состав редакторов и авторов был в Москве...), Мандельштам... очень сблизился с имажинистами при сохранении всех “теоретических” разногласий...

Ройзман был самым тихим и скромным из всех имажинистов. Я с ним мало был знаком и потому не спрашивал у него о “скандале” в театре Зими́на. Вадим Шершеневич слышал об этом, но ничего не мог уточнить, так как сам был уже в зале, а Ан. Мариенгоф и Борис Фердинандов там вообще не были. Надо добавить, что мы, филологи и философы, ...“тонули” в общем пафосе (не боюсь сейчас употребить это слово) борьбы с ЛЕФом и “конструктивизмом” где угодно, как угодно и с кем угодно вместе. Мандельштам – другое дело: резкий перелом в его поэтическом творчестве, обозначившийся уже в двух вещах “Второй книги” 1923 года (“Нашедший подкову”, Пиндаровский отрывок), и наряду с этим продолжающееся появление таких его стихотворений, которые могли бы быть включенными в “Тристи́и” (например, “Концерт на вокзале” и “1-ое января 1924 года”), снисходительно-ироническое отношение к акмеизму как к “детской болезни прошлого” и наряду с этим сохранявшийся у него “культ” (в буквальном смысле) Гумилева и Ахматовой – все это были поиски, но предугадать “воронежский цикл” было еще нельзя.

И эти “поиски” неизбежно вели его к известному эклектизму. “Пафоса” борьбы с ЛЕФом и “конструктивистами” у него не было. Говорить с ним бывало иногда трудно. В наш “Гермес”⁵ он не дал ни одной статьи (сколько я у него ни выпрашивал), а по поводу наших статей и рецензий в “Гермесе” о нем только покачивал головой, а один раз сказал: “А Коля (т. е. Гумилев) меня сейчас, может быть, ругал”.

Замечаю, что ...отошел от “анекдотического жанра”, и хотя в плане “литературоведческом” здесь можно было бы сказать еще немало, я закончу эти записки возвраще-

нием к биографическому жанру. Но в 1927 году анекдоты разыгрывались уже на подлинно трагическом фоне, ставшем трагедией, изображенной самим Мандельштамом в “Четвертой прозе”.

III. О восприятии Мандельштамом чужих стихов

Еще в конце 1925 года я читал О.Э. свое стихотворение, в котором была строчка: “Оковы крепкие крепостника-мороза”. Мандельштам: “Это же замечательно! ...Как это у тебя получилось?” Затем перечитывает (дважды) эту строчку себе под нос и (уже с раздражением): “Да нет же! Это же – дрянь, гниль, труха (его любимое слово), выкинь и замени чем-нибудь!”

Читая (еще в 1923 г.) мою рецензию в “Гермесе” на сошеты Л.П. Гроссмана, Мандельштам стал кричать на меня с негодованием: «И ты можешь такой замечательный метод научного анализа применять к такой трухе. Это же труха, труха, труха! – А ты принимаешь ее за поэзию. Куда же тогда годятся ваши (т. е. “формалистические”) методы. Хорошо, что у нас с вами ничего не вышло». Речь шла о его инициативе организовать “семинар по поэтике” для группы членов Московского Лингвистического кружка с участием, кроме него самого, Пастернака, Асеева, Зенкевича, Бернера и Антокольского. Было (весной 1923 г.), кажется, два собрания, и на этом дело кончилось; читали и обсуждали стихи, но записей никаких не велось⁶.

IV. Дело о “плагиате”

Во время “дела” по обвинению О.Э. (сдавшего в Гослитиздат по договору рукопись своего сокращенного по требованию издательства перевода романа Шарля де Костера “Тиль Уленшпигель” и уже получившего 60% гонорара – сумму по тогдашним временам пустяковую) А.Г. Горнфельдом и А. Карякиным в плагиате у них мне пришлось окунуться с головой в это “дело”, кончившееся, как дело Сухово-Кобылина – не осуждение, не оправдание и “реабилитация чести”, а “оставление в подозре-

нии” за отсутствием улик. Окунуться в бездну крючкотворства, подтасовок, выдвижения “ад хок” новых, шитых белыми нитками “разоблачений” и т. п., описанных самим О.Э. в “Четвертой прозе” и очень неточно Глебом Струве...

Накануне обсуждения вопроса в Союзе писателей (до судебного разбирательства) у нас на Балчуге раздался звонок. В дверях стояли О.Э. и М.А. Зенкевич. Мандельштам потребовал, чтобы я сейчас же ехал с ним к Илье Сельвинскому, голос которого должен был иметь вес в предстоящем обсуждении в Союзе, а он-де (Мандельштам) с ним мало знаком. Я пытался возражать, что мое участие скорее повредит, так как у меня были с Сельвинским (правда, за пять лет до этого) две очень резкие стычки, да и мое отрицательное отношение к “конструктивизму” ему должно быть хорошо известно (по крайней мере, через Корнелия Зелинского, а может быть, и из “Термеса”).

О.Э. ничего слушать не хотел, и мы отправились (около полуночи). Пока добрались до Мясницких ворот, Сельвинский успел лечь, но вышел к нам в пижаме, удивившись, почему такая спешка и нельзя ли все отложить до утра. В общем же принял нас благожелательно и обещал О.Э. содействие. Я пытался разъяснить, в чем сущность настоящего плагиата и что его у Мандельштама нет. Тем не менее, когда мы трое вышли на улицу и вели разговор, О.Э. накинута на меня, крича Зенкевичу: “Вот! Ведь сейчас разговаривает как человек, а там сидел и резину жевал”.

Я очень рад был, что в “Четвертой прозе” Мандельштам... не упомянул обо мне, хотя в нарсуде я был официальным экспертом от Союза писателей. Главная же неточность у Глеба Струве состоит в том, что он, зная “Четвертую прозу”, допускает, что Г-д (Горнфельд), может быть, “не участвовал” в обвинении Мандельштама, тогда как все это “дело” началось со статьи самого Г<орнфельда> – “А ведь шуба-то моя”.

Приложение

О Мандельштаме в письмах Б.В. Горнунга к жене 1927–1929 гг.⁷

1. Май 1927 г.

«...Вчера приехали в Москву Мандельштам и Лившиц. Все время возимся с ними (я и Ал. Ильич⁸), всю ночь были у Асеева. Пили, разрушали ЛЕФ. Возможно, что выйдет что-то вроде нового, очень широкого поэтического объединения на общей платформе, возможно в другом случае серьезное преобразование “Гиперборея”⁹, возможно, конечно, и то, что ничего серьезного не выйдет. Обо всем напишу дня через два. Меня как-то сразу, за одни сутки, вынесло в самую гущу...

...Утром был с Мандельштамом у Пастернака. То же обсуждалось “вообще”.

А в 9 вечера должно быть большое литературное собрание. Ромм сейчас носится по городу, устраивая так, чтобы это было у меня. Собрание должно быть под маркой “Узла”¹⁰ – поэтому все очень сложно. Если собр<ание> будет у Эфроса, Парнок или Луговского, то ... (неразборчиво. – М. Г.). Мы должны за вывеской “Узла” протащить “Тип<ерборей>”...

Манд<ельштам> и Ливш<иц> приехали-то собственн<о> с “коммерческими” целями. В этом оба гениальны. В “Комсом<ольской> Правде” они обвели Уткина вокруг пальца и ...Лившиц продал ему переводы из Арт<юра> Рембо (!) и статью о нем (!). Манд<ельштам> же пишет для “К<омсомольской> Правды” какую-то мудреную статью (деньги уже получил), то же и в ЗИФе¹¹. В “Московском Рабочем” Ливш<ицу> чуть ли не устраивают избр<анную> лирику Гюго».

2. Ночь 23–24 мая (1927 г.)

«...Утром ...пошел в ЗиФ подписывать договор на “Землю”. ...Пришел в ЗиФ и вновь увидел Мандельштама. Он приехал во второй раз, на этот раз даже с женой (уехал он раньше Лившица, а Л<ившиц> только третьего дня). Делали мы каждый свои дела, подписывали

(я – Золя, он – Франса), вдруг он забеспокоился (жена его тут же). “Я, кажется, заболеваю. Я чувствую, как у меня поднимается температура и т. д.”.

Затормошили меня, чтобы я вел его немедленно в аптеку мерить температуру. Я повел их в Москворецкую¹², (где градусника, конечно, не дали, а направили в амбулаторию). Я говорю, что до меня близко и что у нас можно смерить. Он с радостью ухватился. Пришли. ...Градусник он держал около 25 минут и каждые 3 минуты смотрел. Температура упорно не поднималась, но наконец дошла до 37,2°. Тогда он сказал: “Ну, это от возбуждения. Так и должно быть”, и окончательно успокоился. Однако продолжал лежать на диване, чтобы успокоиться более чем окончательно, и все расспрашивал, какой у меня “ребеночек” и на каком месте стоит его “колясочка” ...и что ты украинка-самостийница или “только так – географически” (самостийниц он очень любит). Жена его ко всему относилась очень безучастно и читала Ахматову, которая лежала на стуле (вчера показывал С... одно стихотворение).

Потом вместе пошли. Жена его поехала к каким-то своим знакомым, а мы с ним пошли (погода сегодня чудная, жара) и вздумали залезть на Китайгородскую стену. Там очень хорошо. Мы влезли у Псковских ворот и пошли обратно к Москворецкому мосту. На неотремонтированной части (стены. – М. Г.) растут березки, и – представь себе – он вспомнил сейчас же мой “Поход” (см. примечание 2. – М. Г.). Впрочем, с этой части нас тут же прогнал какой-то десятник. Потом смотрели в бойницы на Москву-реку, и М<андельштам> импровиз<ировал> стихи, обращенные ко мне...

...Завывал он тоненьким голосом. Остался в памяти только конец (“И долго будет крыса хвоя признательна за помощь скорую...”). В стихах было еще и что моя комната без “колясочки” похожа на докторский кабинет.

“Поход” он уже отвез к себе. Читал его и говорит, что по этому поводу когда-нибудь у нас будет серьезный разговор. “Я не знаю еще, как должны такие стихи войти в русскую поэзию, но надпись на книжке меня очень трогает” (я ведь написал – “Почти единственному учителю в моей русской традиции от благодарного...”)¹³. Непре-

менно зовет в Петербург и остановиться у него в Царском – в доме Лицея.

Говорили о Лившице. Оказывается, тот со времен мнемозинской переписки¹⁴ очень интересовался мной и Роммом и расспрашивал обо мне М<андельштама>. Жена его (Мандельштама – М. Г.) за 3 года очень изменилась. Раньше ведь она была еще хуже Аиды¹⁵ и все требовала от мужа, чтобы он вступил в ЛЕФ. По-видимому, проживание под одной крышей с пушкинской тенью подействовало на нее благотворно. (Я полагаю, что градусник теперь никому ставить нельзя, а надо положить его вместе с запонками Глеба Успенского. Может быть, достанем когда-нибудь еще клизму Блока или Брюсова?)...

...Мандельштам считает, что в ЗиФе надо укрепляться как можно прочнее. Слияние его с ГИЗом во всяком случае откладывается до 1 января, а дальше загадывать нечего...

...Откуда восемь псов у вас на дворе? Какие? (Мандельштам бы обязательно спросил “Какого цвета?”)»

3. 29 мая (1927 г.)

“...У Эйхенгольца сидел (после того как написал тебе письмо) очень долго, до рассвета. Дело в том, что тут были некоторые разговоры между Мандельштамом и ими, между мной и Мандельштамом. Теперь мы с Эйх<енгольцем> оформляли это окончательно. Дело идет о том, чтобы возобновить эйхенгольцевский проект многотомной хрестоматии от средних веков до наших дней (по крайней мере до войны)¹⁶. Мы собираемся насесть с этим на Нарбута, когда он вернется (к осени); мы с Эйхенгольцем решили, чтобы делать все по возможности без академиков¹⁷.

Связью с Петербургом будет М<андельштам>. Он же будет наседать на Нарбута. К нам троим мы присоединим еще Нейштадта и м<ожет> б<ыть> А.И., а Ярхо и Мишу и др. будем привлекать только потом, если дело выйдет¹⁸. Единственное подходящее для этого место – ЗиФ...”

4. Без даты (лето 1929 г.?)

«...В понедельник вечером и вторник утром все время возился с делом М<андельштама>; в пон<еделник> в Федерации, а на следующий день в Губсуде, а Нейштадт

в Федерации. Дело приняло теперь совсем иной оборот, об чем уже не напишешь. На суде М<андельштам> держал себя очень хорошо и спокойно, против ожидания его очень поддерживали не только Габр<ичевский>, но и Ярхо...Самой же “благородной” фигурой явился Шойхет – свидетель со стороны М<андельштама> (также как и Зонин). Но тут было и много комического... Ш<ойхет> говорил и обо мне, кроме того мои договора зачитывались судьей и также фигурировали к посрамлению Зи-Фа...»

¹ На углу Балчуга и Садовнической набережной на Канаве в снесенном недавно доме, тогда в квартире своего отца, находившегося в Сибири, жили все три брата Горнунги: уже женатый Борис и холостые младшие – Лев (1902–1993) и Юрий, погибший на фронте (1909–1942). Н.Я. – жена Мандельштама, Надежда Яковлевна.

² *Горнунг Б.* Поход времени. Московские стихи 1925–го года. Москва. “Артем Артельный”, 1925, 24 с., 50 экз. (машинопись).

³ *Мандельштам О. Tristia.* Петербург – Берлин, 1922. С. 12.

⁴ См. приложение 2. Глухов – город на Украине.

⁵ Машинописный журнал-альманах (4 номера выпущены в 1922–1924 гг.), одним из основателей и редакторов которого был Б.В. См.: *Горнунг Б.* О журнале “Гермес” // Пятые Тыняновские чтения. Рига, 1990. С. 186–189.

⁶ Видимо, именно об этом семинаре в МЛК говорится в записке О.Э. Мандельштама Б.В. Горнунгу, сохранившейся в архиве последнего.

⁷ *Горнунг Нина Витальевна* (1901–1985), урожденная Костовская, в первом браке Рудницкая, переводчица французской литературы.

⁸ *Ромм Александр Ильич* (1898–1943), поэт, переводчик, член СП, погиб на фронте, будучи военным корреспондентом. Старший брат кинорежиссера М.И. Ромма.

⁹ Машинописный журнал, созданный Б.В. Горнунгом и А.И. Роммом в 1926 г. Был распространен лишь первый номер, а второй, подготовленный в 1927 г., был фактически конфискован.

¹⁰ Организованное по инициативе П. Зайцева, С. Парнок и др. в декабре 1925 г. Кооперативное Товарищество (“Артель поэтов”) – Книгоиздательство “Узел”. За несколько лет своего существования выпустило несколько изящно изданных сборников поэтов (Лившица, Луговского, Ромма и др.).

¹¹ Издательство “Земля и Фабрика”, в котором в 1930 г. вышел роман Э. Золя “Земля” в отцовском переводе под редакцией М.Д. Эйхенгольца.

¹² Аптека на ныне уничтоженной Москворецкой улице, на месте которой теперь стоит та часть Москворецкого моста, что идет от реки к храму Василия Блаженного.

¹³ “Русской традиции” сказано потому, что отец также переводил на французский и немецкий современных наших поэтов и сам писал стихи на этих языках, которые знал в абсолютном совершенстве.

¹⁴ Имеется в виду переписка с Б. Лившицем в 1924 г. по поводу его участия в вышедшем затем в машинописном виде “Альманахе поэзии и критики. Мнемозина” (1924 г.).

¹⁵ Жена В.И. Нейштадта, славная (я ее хорошо знал), но очень вспыльчивая и тогда трудная для общения женщина.

¹⁶ Первая мировая война.

¹⁷ *Нарбут В.И.* (1888–1944) – поэт, в тот период – руководитель издательства “Земля и Фабрика”, бывшего кооперативным предприятием.

¹⁸ *Нейштадт В.И.* (1898–1959) – поэт, переводчик Брехта и других современных и старых немецких поэтов и драматургов; Миша – Петровский М.А., филолог, переводчик, расстрелян в 1937 г. вместе с Г.Г. Шпетом; А.И. – А.И. Ромм; Ярхо Б.И. (1889–1942) – филолог.

Публикация, предисловие и примечания М. Горнунга

О ТВОРЧЕСТВЕ О. МАНДЕЛЬШТАМА

О полузабытом московском литературно-критическом журнале “Гермес”, издававшемся в 1922–1924 гг. по существу полулегально (в стране ведь действовала цензура на печатные издания, и лишь машинописный способ размножения “Гермеса” как бы избавлял его от прямого государственного контроля), многое стало известным в начале 1990-х годов, в частности благодаря материалам “Пярых Тыняновских чтений”¹. В приводимом в них (с некоторыми мелкими неточностями) содержании четвертого, оказавшегося последним², номера “Гермеса” указывается лишь, что в нем помещены 19 рецензий, но они не названы, и в действительности их 9³.

Среди этих рецензий на только что вышедшие в свет главным образом поэтические книги три рецензии: на книги М. Кузмина, Б. Пастернака и О. Мандельштама (последняя целиком воспроизводится ниже) – принадлежат перу Нины Владимировны Волькенау. Что же сегодня известно об авторе этих рецензий? Увы, весьма немного.

Н.В. Волькенау родилась около 1900 г. в семье офицера. В самом начале 1920-х годов она переехала в Москву из Петрограда, где тогда оставались ее два брата. В Москве Нина Волькенау сразу вошла в круг молодежи, увлеченной поэзией, литературными и философскими проблемами. Некоторое время она была замужем за М.М. Кенигсбергом, любимым учеником профессора Г.Г. Шпета и одним из основателей журнала “Гермес”. Волькенау входила в состав редколлегии всех номеров “Гермеса”, в котором она выступала также и как поэтесса, прозаик, но в основном как литературный критик. Ей принадлежит и статья об О.Э. Мандельштаме (“Классицизм”) в третьем номере “Гермеса” (сентябрь 1923 г.).

Удивительна “оперативность” литературной критики того времени. Например, стихотворения М. Кузмина в “Новом Гуле”, вышедшем в Петербурге в 1924 г., датированы февралем-мартом этого года, а уже в июле 1924 г. Н.В. Волькенау публикует в четвертом номере “Гермеса” развернутую интересную рецензию на эту книгу.

Н.В. Волькенау разошлась с М.М. Кенигсбергом незадолго до его внезапной кончины летом 1924 г. Вскоре после этого она вышла замуж за московского врача Милицына, якобы поставившего ей условием брака полное прекращение всех прежних знакомств. Л.В. Горнунг упоминал, что в конце 14-летнего перерыва в знакомстве он случайно встретил Н.В. в 1938 г., но так и не получил никаких сведений о ее новом бытии⁴. Для меня оно остается неизвестным и сейчас. В.Я. Виленкин говорил мне в начале 1990 г., когда я все еще пытался собрать сведения о Н.В. Волькенау для очерка о “Гермесе”, что он встречал ее значительно позже, чем Л.В. Горнунг, но это также ничего не дало для уточнения биографии этой несомненно привлекавшей к себе женщины, наделенной еще и острым критическим умом. Быть может, эта публикация как-то будет способствовать ликвидации пробелов в нашем знании биографии достаточно яркой представительницы особого поколения двадцатых годов – “несгибаемых”.

Михаил Горнунг

¹ *Горнунг Б.* О журнале “Гермес” // Пятые Тыняновские чтения. Рига, 1990. С. 186–189; *Левинтон Г.А., Устинов А.Б.* Указатель содержания журнала “Гермес” // Там же. С. 189–197; *Левинтон Г.А., Устинов А.Б.* К истории машинописных изданий 1920-х годов // Там же. С. 197–210.

² Четвертый номер “Гермеса” открывается сообщением в траурной рамке о том, что 30 июня 1924 г. во время заседания редакционной коллегии номера внезапно скончался от разрыва сердца ее председатель М.М. Кенигсберг (1898–1924). На заседании редколлегии 18 августа того же года ее временным председателем была избрана Н.В. Волькенау. Тогда же было решено выпустить в свет четвертый номер журнала в том виде, в каком он сформировался к этому моменту, а дальнейшее издание “Гермеса” прекратить. Намечалось издать через год сборник статей и воспоминаний о М.М. Кенигсберге, что осуществить не удалось, хотя некоторые материалы были подготовлены.

³ Исходя из этого, представляется уместным здесь восполнить пробел в информации о “Гермесе” и привести полный перечень рецензий, опубликованных в его последнем номере. Они приводятся в том виде, в каком указаны в оглавлении:

Рецензии

Максим Кенигсберг. Инн. Анненский. Посмертные стихи. “Картонный Домик”. П., 1923. С. 218.

Лев Горнунг. Н. Гумилев. К синей звезде. Незданные стихи 1918 года. “Петрополис”. Берлин, 1923. С. 223.

Нина Волькенау. М. Кузмин. Новый Гуль. Academia. Л., 1924. С. 226.

Борис Горнунг. Б. Липин. 1922 книга. Московский Парнас. 1923. С. 228.

Нина Волькенау. О. Мандельштам. Вторая книга. “Круг”. М.; П., 1923. С. 234.

Нина Волькенау. Б. Пастернак. Темы и варьяции. “Геликон”, Берлин, 1923. С. 237.

Максим Кенингсберг. П. Муратов. Морали. Рассказы. “Геликон”, Берлин, 1923. С. 240.

Дмитрий Дементьев. Тит Петроний арбитр. Матрона из Эфеса. Перевод, примечания Г.И. Гидони. Предисловие Н.С. Гумилева. Пг., 1923. С. 248.

Александр Челпанов. Аристофан. Всадники. Перевод, вступит. статья и примечания А. Пиотровского. Пг., 1923. С. 252.

⁴ О Н.В. Волькенау Л.В. Горнунг уже почти в 90-летнем возрасте упоминает в своих (местами довольно путаных) воспоминаниях о Г.Г. Шпете, которые с комментариями К.М. Поливанова помещены в том виде, в котором они записаны с голоса ослепшего давно старика, в материалах “Шестых Тыняновских чтений” (Рига – М., 1992. С. 172–185).

Классицизм

Об Осипе Мандельштаме

О Европа, новая Эллада,
Охраняй Акрополь и Пирей.

Нам хотелось бы в этой заметке уяснить одно из многообразных пониманий этого термина и указать на два произведения одного из виднейших современных поэтов, который и в теоретическом, и в поэтическом своем творчестве всех ближе подошел к этому наиболее точному и плодотворному пониманию.

Для нашей задачи крайне существенны в статье О. Мандельштама “Слово и культура”* не только непосредственные обращения его к классицизму, но и вся защита им слова и духа, вскрывающая глубокое понимание автором истинной культуры современности и истинность видимого им одного пути к возрождению – через Слово.

Поистине, “Социальные различия и классовые противуположности бледнеют перед разделением ныне людей на друзей и врагов слова”. И радостно, что поэт, говоря о поэзии, говорит не как специалист-конструктор, что за прекрасными формами своего ремесла – и даже раньше их – он видит Бога – Слово. В этой поразительной статье, в которой тончайшие и строго отточенные суждения

*Альм<анак> “Дракон”, Петербург, 1921.

сплетаются в непостижимо-цельном развитии, подобном развитию лирической темы, внутреннего образа стиха, автор не доказывает, принимая за очевидное, того, что действительно очевидно по существу – что слово есть культура, и культура есть слово. Захватывающе значительно в ней то “сострадание” к государству и времени, отрехшимся от слова и идущим ко дну без него, которое для автора является путем и подвигом современного поэта и в единственной возможности спасения, к которой он зовет – к слову, облеченному во все богатство и сложность многовековой жизни духа, “всех времен, всех культур”, открытых для нас, которые должны петь в современной поэзии. Поэзия – всё. “Поэзия – плуг, взрывающий время так, что глубинные слои времени, его чернотой оказываются сверху”. Одна эта фраза (боюсь назвать ее определением) с разительной яркостью уясняет взгляд Мандельштама на поэзию и требования, предъявляемые к ней. Дух, смысл – вот что безусловно превалирует в поэзии как и в Слове вообще. Слово живо, слово – дух, свободно блуждающий вокруг обозначаемой им вещи, не прикованное, не тождественное с ней. Нельзя сознательно разрушить форму – потому что у духа, Психеи, есть лик, который является иногда мучительно искаженным, но которого нельзя расчетливо и нарочито раскалывать с циничной усмешкой: “Можно разобрать, можно и сложить”. Нельзя – потому что, так испытывая форму, убивают дух. Но нельзя и другого – нельзя выдумывать школ и поэтик, нельзя сказать, к а к нужно писать. Центром каждого отдельного стихотворения (а для него в каждом стихотворении, как и вообще в поэзии, есть определенный центр, есть главное, он далек от требований равномерности и равновесия в распределении стихотворного материала) для Мандельштама является внутренний образ – “звучащий слепок формы, который предваряет написанное стихотворение”. Его нужно в ы р а з и т ь, заставить прозвучать для других, написанным, как ненаписанное, звучит оно для самого поэта. Но к а к это сделать – нельзя предписать. Внутреннему образу не непременно соответствует внешняя “образность”.

“Пиши безобразные стихи, если сможешь, если сумеешь” в их безобразии показать милый лик Психеи. Указывая путь, Мандельштам указывает и предшественни-

ков на нем. Это классики – Гомер, Катулл, Овидий, Пушкин. Категория классицизма, как показывает уже последнее имя, понимается Мандельштамом не только исторически, но и по существу, главным образом в аспекте философии поэзии, философии культуры. Классицизм для него – выражение жажды, тоски человечества по “целине времен”, выражение его вечных, глубинных стремлений, как будущее, как то, что д о л ж н о быть, но чего еще не было. Поэтому не страшны, а только радостны повторения, неожиданные встречи с теми, кто уже был мучим той же жаждой – и легко опьянение классическим (здесь и историческим) вином.

Вся вторая книга стихов Мандельштама “Tristia” (Petropolis, Пб., 1922) одухотворена дыханием классической культуры, классической поэзии. Это не заимствование античных одежд, под которыми кроется никакое содержание, не вариации на темы античной мифологии, но глубокое проникновение высшим достижением античной поэзии – ее классицизмом. Этому термину, что видно уже из рассматривавшейся выше статьи, усваивается все прочнее не только историческое значение, исторический с м ы с л его этим не стирается, а только углубляется от раскрываемого теоретического. Мы только все оощутимее и нагляднее убеждаемся в том, какая незыблемая и единая основа у всей многовековой жизни европейского духа, к которой всегда прибегал и прибегает он в минуты оскудения и темноты и в которой находит истоки нового расцвета, нового духовного рождения. В заушном шуме, бессмысленной сутолоке современной поэтической жизни, вынесенной в газетные объявления и на стенные плакаты, Мандельштам обратился к ней и нашел, думается, наиболее верную дорогу к возможности создать в нашей растерянности и тьме гармоническое классическое искусство.

Как всякое по существошшм – словесным – своим признакам выделяемое и самоудовлетворяющее поэтическое явление, классицизм может быть в наиболее важных, формальных своих признаках и особенностях охарактеризован по аналогии со “словом”*. Если принять, что слово есть, с одной стороны, в е щ ь в ряду других ве-

* В определении слова следую Г.Г. Шпету (“Эстетические фрагменты”, вып. II–III).

щей, имеющая свои определенные признаки и развивающаяся по своим, себедовлеющим законам, с другой же — знак, имеющий значение, репрезентирующий смысл, и что различные соотношения, взаимные расположения многообразных форм, лежащих между этими гранями, образуют воспринимаемые нами “слова” — разговорное, научное, поэтическое, — то понятна будет предварительная характеристика классической поэзии как такой, в которой творческое сплетение строгих и совершенных (исторически) вещных форм поэтического слова (от акустической его данности до синтаксических форм), при сочетании, наложении своем на значительные, всеобщные, смысловые его формы, дает стройные и гармонические внутренние поэтические формы, в которых идеальная, смысловая стихия слова ясно ощущается, как основа.

Предметы классической поэзии, при всем возможном разнообразии сюжетов, эстетическому сознанию часто предстают, как **в о з в ы ш е н н ы е**.

Включенное в социально-исторический контекст, классическое искусство представляется нам с точки зрения истории поэзии и истории языка преимущественно не нормой, не проложением новых “диких” путей, а укреплением, завершением завоеваний предшествующей эпохи, звеном в долгой цепи традиции; как своего рода вершина, центр поэтической — духовной жизни народа, необходимо национальной, понимая под этим прежде всего интерес к родной культуре в ее прошлом и отклик на ее настоящее. Понятно, что такое искусство может развиваться вполне только в эпоху пробуждения, напряжения духовной жизни страны, ее “возрождения”. В этом — залог почти неизбежного обращения к античной культуре, поэзия которой, кроме того, в лице Горация, Алкея, Овидия дает образцы совершенного классического мастерства.

Мы далеко не предлагаем признать Мандельштама подлинно и вполне классическим поэтом. Не говоря уже о том, что для окончательного установления такого сложного явления, каков классицизм, по существу необходима историческая перспектива, что не пришло еще время для такого подъема духовной нашей жизни, что слишком мало еще сил, и свойства самой поэзии Мандельштама позволяют ему отвести только первое место в ряду пред-

вестников и борцов за русский классицизм. Укажу на черту ее, которая отчасти отвечает и некоторым мыслям статьи, и является отрицательной с точки зрения нашего определения. Важным пунктом его было легко вскрываемое присутствие в структуре произведений логических, разумных форм, служащих как бы основанием творческому полету фантазии. Как раз этому не удовлетворяют многие произведения Мандельштама. Мы очень далеки от требования, даже с точки зрения классицизма, “объяснения” каждого образа стихотворенья, и для нас ясно, что оно должно развиваться не по логической схеме, а в силу особой поэтической последовательности своих образов – не разумное содержание, смысл произведения должен быть ясно выявлен и оправдан под покровом смысла поэтического. Это требование можно свести к требованию четкости и ясности образов. Но Мандельштам и не требует и часто не дает этого. “Пиши безобразные стихи, если можешь, если сумеешь”. Острая внимательность и любовь Мандельштама к слову как самостоятельной величине, ощущение им его независимой жизни делает то, что смысл стихотворения, сюжет его в скелете своем смысловом расплывается, ускользает, тает под богатством наплывающих образов, рождающихся один из другого и сплетающихся между собой в силу собственной своей, увлекающей поэта за собой, закономерности. Это, вероятно, и есть “безобразие” – перегруженность подчас почти бессмысленными, но глубоко волнующими, подчас глубоко и трепетно символическими образами, но смутными, сбивчивыми, не стоящими прочно на разумном основании.

Но с этой слита в творчестве Мандельштама другая струя. Наряду с остро фантастическими, поражающе неожиданными, но часто противоречивыми, мы встречаем у него образы, сотканые из определений, до прозаизма, казалось бы, простых и скудных, до логической неподвижности общих, четко и непосредственно ведущих к смыслу определяемого предмета, оживающих в творческом контексте его стиха и получающих новую, благодаря самой скупости своей, убедительную силу и поэтический смысл. При развитии и сплетении своем оформляющем сюжет, образы эти нередко затемняются, но мы все-таки имеем отдельные цельные строфы и даже стихотворения, в которых чистые элементарные образы, раз-

виваясь в ясных и стройных синтаксических формах, дают образцы строго совершенного классического мастерства.

Вся значительность творчества Мандельштама, с нашей точки зрения, может быть понята, однако, при обращении к сюжетам и темам его поэзии. В нашей попытке определения мы говорили о “значительности и всеобщности” содержания классической поэзии. Это далеко не значит, что мы требуем от нее исключительно “философских” и отвлеченных тем. Сюжеты классической лирики безусловно могут быть и чисто эмоциональными, но тогда изображаемое чувство должно быть лишено только индивидуального, мимолетного характера, должно быть очищено и возвышено до чувства типического, не теряя, конечно, при этом своей оригинальности. Лирика Пушкина – лучший этому пример. Но в общем, действительно лирика классическая скорее уводит нас от поэта с его индивидуальными, преходящими тревогами, стараясь не взволновать, заразить ими, а сообщить объективное, общезначимое содержание, отозваться на непреходящие интересы и волнения своего города, человечества. Такова в значительной мере поэзия Мандельштама. В ней редко самостоятельные, автобиографические эмоциональные сюжеты; иногда чисто личное, интимное переживание автора, которое мы ждем увидеть развернутым в самостоятельный сюжет, отступает на второй план, низводится на степень одного из мотивов под наплывом строгих образов античности. Античные мотивы вообще очень характерны для поэзии Мандельштама, античные реминисценции сплетаются у него и с современными мотивами, и с раздумьями о природе, поэзии, неведомом мире теней, придавая всей его поэзии характер совершенно особенной, сосредоточенной углубленности, иногда непосредственно выражающейся в скорби по “святым островам”, в защите их наследия, как в двух строках, послуживших эпиграфом этой статье. Наше мнение о плодотворности для европейского духа обращения к античности, о необходимости его народу для возрождения от сумеречного времени и возможности дальнейшего развития было высказано выше. Но не одна античность – действительно “все времена, все культуры” поют в стихах Мандельштама: христианство западное и греческое, умирающая Венеция, немецкий романтизм и глубже

всего сюжеты русские, выражение русской культуры, русской красоты, печаль по которой не оставляет поэта даже “в стенах Акрополя”. Но эта любовь не исключительна, у поэта не две родины, разделенные, может быть, интересующими, но чуждыми культурами; в любви к своей родине, к ее слову он умеет найти источник любви к чужеземному и подняться до такой поразительной духовной высоты, широты и мирной мудрости кругозора, какие развертывает его “Зверинец”.

Так называемая формальная, внешне мастерская сторона стихов “Tristia” требует более специального анализа, чем то входит в задачи этой статьи, но мы все-таки хотим отметить, что внешняя простота техники стихов Мандельштама ощутимо скрывает под собой большое, сдержанное мастерство, что четкая законченность его несложных ритмов (большей частью ямбических и хореических), никогда не однообразных, свободное обращение с разностопностью строк, не нарушающей общей стройности стиха, а только придающей ему особую выразительность и силу, позволяют нам и с этой стороны признать его близким к тому, что мы пытались определить как классицизм.

*Сентябрь, 1922.
Москва*

О. Мандельштам. “Вторая книга”.

Если “Tristia”, почти целиком вошедшие во “Вторую книгу”, составив большую ее часть, разбили впечатление стройного и блестящего акмеизма, “Камня”, — то немногие прибавленья “Второй книги” существенно изменяют для нас и этот, второй облик поэта. “Вторая книга” оставляет нас в значительной неуверенности относительно направления, в котором будет развиваться творчество О. Мандельштама. Широта и серьезность тематического захвата, глубокая поэтическая мудрость, доходящая до тютчевских высот, соединенные с подлинною любовью к античности и строгостью формы, позволили назвать Мандельштама поэтом-классиком в довольно распространенном значении этого слова. Но уже в “Tristia” на-

мечаются и существенные иные течения, яснее обнаруживающиеся во “Второй книге” и которые с меньшей определенностью термина можно обозначить как “романтические”. Несмотря на то, что поэтический смысловой скелет подавляющего – и во “Второй книге” – большинства стихов Мандельштама очень четок, почти всегда рядом с разумно-поэтической стихией живет в них другая – смутно, совершенно интуитивно ощущаемая то как дружественно-“понятная”, то как враждебно-темная. Здесь неизбежная для любой поэзии фантастическая поэтизация смысла осложняется тем, что поэтическое осмысление каждого отдельного стихотворения назойливо предстает не как некое себедовлеющее целое, но как отзвук какого-то иного, за данным стихотворением, в него лежащего поэтического – а может быть, и не поэтического – мировоззрения и чувства. Этот момент может даже усилить эстетический эффект стихотворения, независимо от него обладающего своей художественной ценностью; когда же оно не может быть воспринято иначе, как отплеск неизвестного иного, оно оставляет чувство досадной неудовлетворенности. К сожалению, ни одно из стихотворений с преобладающей последней тенденцией не исключено Мандельштамом при составлении “Второй книги”; в новых вошедших в нее опусах она вскрывается особенно сильно в “Грифельной Оде”, которую нам представляется невозможным воспринять как цельную поэтическую единицу – настолько темна ее поэтически-смысловая композиция (впрочем, при достаточной ясности смысла логического).

Пугающие новые мотивы слышатся в этих новых опусах.

Немного теплого куриного помета
И бестолкового овечьего тепла

довлеют поэту <так. – М.Г.> и “Эолийский чудесный строй” кажется ему пенем “против шерсти мира”... Меняются соответственно и словарь, и символика. Словарь вульгаризируется; символика склоняется к типичному для натуралистического искусства подчеркнутому эмпирическому реквизиту. Прекрасное стихотворение “Век”, исключительно сильно и оригинально выражающее монолитность века как всю жизнь проникающего единства (оригинальность и в неожиданном для такой темы четы-

рехстопном хорее), было бы, думается, прекраснее без аллегоризации века зверем.

Однако пугающее впечатление это значительно ослабляется редкой художественной значимостью двух более крупных произведений – упомянутого уже “Века” и “Нашедшего подкову”. Написанное с совершенно исключительным мастерством белыми вольными стихами, последнее представляется нам рядом необычайных по глубине и силе поэтических раздумий. Дает право на такое не-признание их неразрывности и способ напечатания их отдельными отрывками, по страницам. Если же произведение претендует на такую неразрывность, придется признать, что основания к ней лежат тоже вне пределов его самого, а в нем не выявлены.

ПИСЬМО А.Г. ГОРНФЕЛЬДА А.Р. ПАЛЕЮ

Публикуемое ниже письмо Аркадия Георгиевича Горнфельда (1867–1941) московскому литератору Абраму Рувимовичу Палею (1893–1995) примыкает к документам, связанным со скандалом, разгравшимся вокруг ЗиФовского издания романа Шарля де Костера о Тиле Уленшпигеле (1928). На титульном листе этого издания О.Э. Мандельштам значился как переводчик, тогда как в действительности он являлся редактором и обработчиком двух переводов, принадлежавших А.Г. Горнфельду и В.Н. Карякину. Дальнейшие обстоятельства “дела об Уленшпигеле” подробно изложены, например, в примечаниях П. Нерлера к “Четвертой прозе” Мандельштама (*Мандельштам О. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 414–416*).

Отметим попутно, что в одной из рецензий 1923 года адресат письма Горнфельда следующим образом оценивал поэзию Мандельштама: “...стихи О. Мандельштама и Георгия Шенгели ничем не замечательны” (*Книга и революция. М., 1923. № 3. С. 78*).

Упомянутое А.Г. Горнфельдом письмо в “Вечернюю Москву” было написано в ответ на письмо Мандельштама, опубликованное в “Вечерней Москве” от 10 декабря 1928 года, которое в свою очередь было ответом на заметку Горнфельда “Переводческая стряпня” (“Красная газета” от 13 ноября 1928 года, вечерний выпуск), содержащую резкие упреки и обвинения в адрес Мандельштама. Газетную вырезку с этой статьей Горнфельд приложил к публикуемому письму. Подробнее о взаимоотношениях Палея и Горнфельда см. в: *Палей А.Р. Встречи на длинном пути. Воспоминания. М., 1990. С. 18–28*.

Текст письма воспроизводится по автографу: РГАЛИ. Ф. 1897. Оп. 1. Ед. хр. 4.

18.XII.28

Многоуважаемый Абрам Рувимович,

Если можете, то, пожалуйста, поспособствуйте напечатанию моего письма в редакцию “Вечерней Москвы”, сегодня туда отправленного. Москвичи ведь не знают, в чем дело, и я остаюсь безвинно облаянным. За все, что Вы сделаете и сообщите по этому делу вообще, буду очень благодарен. Всего хорошего – АГ.

Публикация и вступительная заметка О. Лекманова

СОВРЕМЕННОСТИ

ПСИХИАТР БОРИС НАУМОВИЧ СИНАНИ

В 1991 году я присутствовал на конференции, посвященной памяти О.Э. Мандельштама¹. Дружба моего отца Бориса Борисовича Синани с Осипом Эмильевичем – дружба молодых людей – казалась мне естественным основанием для моего выступления на конференции. Однако по мере выступлений участников конференции, выступлений настолько сложных, что даже их общий смысл едва доходил до моего сознания, уместность моего дилетантского вмешательства в поток высочайшей науки становилась для меня абсурдной.

Постепенно ученые-литературоведы уставали, и к моменту моего заранее назначенного предпоследнего выступления явно доминировало желание завершить конференцию. Тогда я принял решение предельно сократить свое “слово” и настолько преуспел в этом, что снискал всеобщее одобрение. Меня даже хвалили.

А сказал я следующее. Наш долг сегодня, помимо изучения и пропаганды наследия писателя, распространить, сделать достоянием современников ту нравственную атмосферу, которая способствовала развитию личности художника. Раскрыть черты мировоззрения общества, окружающего писателя, черты сегодня забытые, а иногда и искажаемые. Прежде всего это идея миссии каждого человека, некоторый аналог сверхзадачи, как я это теперь понимаю. Категория не слишком четкая, но достаточно определенно диктующая отношение человека к себе и к миру.

Религии никогда не играли существенной роли в семье Синани. Религий вокруг было много, самых разнообразных. Православие, караимство, католицизм, даже теософия, наконец атеизм безусловный, хотя и не противоречащий высочайшей духовности. Разнообразие национальностей также не играло никакой роли в отношениях семьи и ее окружения.

Я сказал еще, что не стоит обвинять Осипа Эмильевича в многочисленных искажениях, допущенных писателем в изображении “Семьи Синани”, однако некоторые неточности переходят границы допустимого.

Таково, например, следующее утверждение автора: *“...Я знал, что делал у себя в кабинете Борис Наумович: он сплошь читал вредные ерундовые книги, исполненные мистики, истерии и всяческой патологии; он боролся с ними, разделялся, но не мог от них оторваться и возвращался к ним опять. Посади его на чистый позитивистский корм – и старик Синани сразу бы осунулся...”*.

Это оскорбляет образ крупнейшей личности с трагической судьбой. Человек, посвятивший себя помощи страдающим людям, сам рано потерявший жену, переживший внезапную смерть любимого сына, испытывший горе неудачи в лечении близкого друга – писателя Глеба Успенского, заслуживает более чуткого отношения.

И в заключение я сказал, что наше поколение знает события и людей того далекого прошлого не только по запомненным словам, явлениям и поступкам, но внутренней памятью, как часть себя и своей жизни. Интересно, что я, совершенно не помнивший моего отца, умершего, когда мне не было и года, по словам Самуила Соломоновича Синани, двоюродного брата отца, читал те же стихи, которые читал мой отец, с теми же интонациями, с теми же ударениями и с тем же смыслом, как это делал мой отец.

К этому следует добавить отсутствовавшую в моем выступлении характеристику наиболее значительной личности в семье Синани – личности Бориса Наумовича Синани. Уверен, что черты отца, привлечшие Мандельштама, воспитались под непосредственным влиянием Бориса Наумовича.

Прежде всего деятельность Бориса Наумовича, помимо успешного осуществления чисто медицинских задач, всегда носила четко выраженную научную направлен-

ность. Многие идеи, высказанные им почти сто лет тому назад, не потеряли своего значения и сегодня. Так, например, в работе “О лечении внушением”, вышедшей в Новгороде в 1899 году, читаем:

“Чем больше я пользуюсь внушением с лечебной целью, тем больше я убеждаюсь в том, что оно представляет могущественное орудие для исцеления людей от многообразных страданий, для исправления их от многообразных болезненных наклонностей и дурных привычек, как обширно то поле, на котором суждено внушению играть роль с лечебной и воспитательной целью. Рядом с таким утверждением растет у меня чувство сожаления по поводу того, что пока еще даже среди людей науки мало распространены знания и понимание значения в нашей жизни внушения и самовнушения и еще меньше умения пользоваться этими особенностями человеческой природы на благо людей. Пока люди не научились понимать, какую роль в их состоянии играет самовнушение, какую роль играет во взаимных отношениях людей внушение, пока они останутся в неведении относительно тех условий, которые благоприятствуют самовнушению и внушению, до тех пор не может быть речи об утилизации этих особенностей человеческой природы с пользой, как для себя, так и для своих близких, до тех пор люди будут служить беззащитными объектами, на которых воздействуют случайно сложившиеся обстоятельства. Так как при теперешних условиях нашей жизни обстоятельства складываются так, что люди видят кругом себя несравненно больше примеров дурных, чем хороших, то самовнушения их (подражание есть не что иное, как самовнушение) имеют больше отрицательный характер, чем положительный. Так как во взаимных своих отношениях люди руководствуются больше эгоизмом, чем альтруизмом, имеют больше стремление эксплуатировать других в свою пользу, чем поступаться личными интересами в пользу ближних, то люди подвергаются больше внушениям, направленным к их вреду, чем к их пользе”.

Там же содержится очень важное наблюдение о сущности внушения: *“Я употребляю выражение чистое самовнушение для того, чтобы мимоходом сказать, что, в сущности, во всяком действительном внушении дело в*

конце концов сводится к самовнушению. Усвоение внушения есть не что иное, как обращение содержания внушения в предмет самовнушения”.

Борис Наумович около двадцати лет руководил Колмовской больницей душевнобольных в качестве главного врача. Больница эта, находившаяся около Новгорода на берегу Волхова, во всех деталях лечебной, административной и даже хозяйственной деятельности являлась реализацией его воззрений и потому может служить источником понимания личности доктора Синани.

Борису Наумовичу принадлежит и научная характеристика больницы². В подробном ее описании, наряду со многими замечаниями, свидетельствующими о внимании Бориса Наумовича к мельчайшим деталям функционирования вверенного ему учреждения, находим поразительную характеристику преданности делу самого доктора Синани и подобранного им персонала.

«...Каких-либо письменных, регламентирующих обязанности служебного персонала не существует... Лучшей характеристикой их может быть следующее основное положение: все служащие должны жить в тех самых зданиях, в которых живут и больные... Старший врач живет в первом этаже главного корпуса мужского отделения с ходом в его квартиру со стороны общих сених... Больничная прислуга поставлена в еще более тесное общение с больными: отдельных помещений для нее вовсе не имеется; полагается, что они должны жить вместе с больными и спать с ними в общих палатах. Вышеупомянутое положение я назвал наиболее характеристичным для суждения об обязанностях служебного персонала потому, что оно имеет значение как бы общего знаменателя, к которому сведены все обязанности служащих. Это означает, что от них требуется, чтобы они всецело посвятили себя служению интересам больных, чтобы они личную свою жизнь приносили в порядок больницы, чтобы они связали свои интересы с интересами больных. Само положение их среди больных обязывает их употребить все старания к тому, чтобы больница являлась по возможности благоустроенным заведением, в котором доведены до возможного минимума те характерные черты “сумасшедших домов”, которые могут отражаться невыгодно и на состоянии са-

мих служащих. При такой совместной жизни с больными в интересах их самих, чтобы в больнице соблюдались чистота, порядок, спокойствие. Само собой разумеется, что каждый из служащих может содействовать всему этому в пределах своей физической, умственной и нравственной компетентности... Для того, чтобы надзор их за больными во время работ не имел характера оскорбительного для самолюбия больных, для того, чтобы надзирающая прислуга не производила на больных впечатления надсмотрщиков, она обязана заниматься работами наравне с больными».

Сам старший врач – Борис Наумович – в течение 20 лет давал пример беззаветного служения делу.

Одна из существенных страниц деятельности Бориса Наумовича связана с лечением Глеба Ивановича Успенского. Опубликован дневник, в котором Борисом Наумовичем отражены все особенности болезни писателя³. Психиатр В.А. Громбах подчеркивал: «Автор “Дневника” д-р Б.Н. Синани вошел в историю русской психиатрии, как один из членов славной плеяды земских психиатров 80-х и 90-х годов прошлого столетия, которые создали у нас общественную психиатрию, не превзойденную нигде (кроме, может быть, Англии), и построили ряд прекрасных психиатрических больниц.

“Дневник” д-ра Синани представляет собой документ большого значения, во-первых, потому что это – история болезни, освещающая целый период жизни такого выдающегося человека, как Г.И. Успенский, и во-вторых, потому, что он написан крупным психиатром, который среди объективных записей о поведении и высказываниях душевнобольного разбросал много ценных соображений и замечаний научного характера»⁴.

По этому же поводу директор Государственного Литературного музея В.Д. Бонч-Бруевич писал: “Изю дня в день следит он за жизнью своего больного друга, которого он, несмотря на тяжелые личные переживания, ввел в свою семью, в которой долгие годы находил угнетенный духовно Глеб Иванович и покой, и заботу, и ласку, и глубокое душевное понимание, и самое любовное отношение всей семьи Синани.

Благодарное потомство отметит этот подвиг бескорыстного и любвеобильного врача – человека и гражданина, сумевшего найти в своем сердце великий порыв ис-

тинного гуманизма, которым запечатлен весь скорбный путь этой титанической борьбы за жизнь и творчество писателя”.

Некоторый общий взгляд на личность Бориса Наумовича можно почерпнуть из биографии Б.Н. Синани, опубликованной А.Б. Дерманом в том же номере: “Летописи Гослитмузея”: “...Когда д-р Синани практиковал в Петербурге – приезжали к нему с Урала, с Кавказа, из Сибири. Его авторитет среди врачей-психиатров был чрезвычайно высок, а популярность среди пациентов чрезвычайно высока. Но я сам слышал, как он однажды с оттенком удивления воскликнул:

– Ведь я нищий, буквально нищий!

Это противоречие популярности и полוניщеты было обусловлено всем строем душевного облика доктора Синани... В своих отношениях с людьми этот материалист был бессребреником чистой воды, что же касается вопросов этического порядка, то в его жизненном обиходе они выступали не в качестве более или менее отвлеченных принципов... Для него это был воздух, которым он дышал... Он с презрительной усмешкой и резкими эпитетами отзывался о всякой метафизике, мистике, религии, выводя все это либо из умственного убожества, либо из низменной трусости, либо даже из болезненного состояния души...

Нечего и говорить, что сам он в своем, так сказать, личном обиходе не испытывал ни малейшей нужды в какой бы то ни было метафизике, мистике или религии... Но замечательно, что резко-суровый облик и речей, и внешности, и вкусов, и взглядов доктора Синани не служил преградой для людей, обращавшихся к нему за помощью. Мужчины и женщины, старые и молодые, угнетенные несчастиями, потерями, внутренними драмами, зачастую придавленные и робкие – с великим облегчением раскрывали перед ним свою душу”.

Борис Наумович умер в Симферополе в 1922 г. Я хорошо помню моего дедушку. В особенности мне запомнился один день. Дедушка был у нас, у мамы, в деревянном домике на Песочной улице. Помню себя сидящим у него на коленях. У него в руках книжка, и я “читаю” текст, запомненный мной почти наизусть. И дедушка восклицает: “Смотрите! Он читает! Читает!” Я был дорог ему. В

особенности после смерти любимого его сына – моего отца. И теперь, миновав 80-летний рубеж, я распознаю в себе наследие черт, давших нужные силы пройти по жизни достаточно сложным путем, преумножив энергию преодоления и оптимизм и понять жизнь как обобщенное пространство возможной реализации творческого потенциала человека с вытекающей отсюда концепцией глобального творчества в любом, материальном или духовном движении.

Не знаю, удастся ли мне передать другим духовное богатство психиатра Синани, но я попытаюсь в грядущие годы не растерять завещанное мне и сохранившееся пока только во мне.

¹ Имеется в виду ленинградская часть Вторых Мандельштамовских чтений, проходивших в Москве и Ленинграде в январе 1991 года.
Р е д.

² См.: Синани Б.Н. Описание Колмовской больницы душевно больных // Приложение к докладу Новгородской губернской земской управы. Новгород, 1889.

³ Летопись Гослитмузея. М., 1939. № 4.

⁴ Там же.

В. Некрасова

О СЕМЬЕ БРУНИ

Род художников Бруни известен в Северной Италии и Швейцарии со времен Возрождения – с XVI века.

Братья Бруни – Николай и Лев – родились в семье архитектора Александра Бруни и его жены Анны Александровны Соколовой-Бруни (во втором браке – Соколовой-Искаковой). Академик живописи Феодор Бруни, деятельность которого была связана с Петербургской Академией художеств, приходился им прадедом (по боковой линии).

Николай родился в 1891 г., а Лев – в 1894 г. в Малой Вишере. Со стороны матери оба брата были правнуками известного акварелиста XIX века – Петра Соколова. Прабабка матери – Юлия Павловна Брюллова – приходилась родной сестрой Карлу Брюллову, а дед обоих братьев – Александр Петрович Соколов – тоже был известным художником. Он-то и обратил внимание на дарование своего внука Льва и отвез один из его набросков Александру Бенуа, который своим отзывом подтвердил несомненность одаренности мальчика. Сам Лев Александрович любил в шутку говорить, что в жилах его течет не кровь, а акварель. Царившая в семье атмосфера высокой духовной культуры, атмосфера искусства сказывалась на формировании обоих братьев. Но была и разница. Так, Лев Александрович, вспоминая летние пейзажи в усадьбе деда под Лугой, обронил фразу: *“Мне казалось, что все люди – художники...”* – выразив ею свой всепоглощающий интерес и всепоглощающую потребность именно в этой

деятельности. Николай же Александрович, несмотря на несомненную одаренность и в области изобразительных искусств, что подтверждается фактами более позднего периода его жизни, самым серьезным интересом своего детства, отрочества и юности считал музыку, фортепианное исполнительство.

В 1904 г. оба брата были приняты в Тенишевское училище.

* * *

На рубеже столетий князь Вячеслав Николаевич Тенишев был фигурой весьма известной в России. Его знали и как общественного деятеля, и как промышленника, и как человека либеральных убеждений и разносторонней образованности, с широким кругом интересов. Достаточно сказать, что собранная им и его женой Марией Клавдиевной – женщиной талантливой и незаурядной – коллекция предметов старинного русского быта составляет обширный фонд в Музее истории и этнографии. Будучи отцом двух сыновей, он был весьма озабочен их воспитанием и образованием. За советом по этому поводу он обратился к известному в то время педагогу А.Я. Острогорскому, который подал ему мысль создать учебное заведение нового типа – школу, целью которой была бы “широкая подготовка к жизни”, так как ни казенные, ни частные гимназии, ни пользовавшееся популярностью Училище правоведения не удовлетворяли их обоих.

Вскоре Вячеслав Николаевич понял, что именно Острогорский должен стать директором этого учебного заведения. О.Э. Мандельштам в “Шуме времени” писал: *«...Вот и теперь еще старые дамы и хорошие провинциалы желая, похвалить кого-нибудь, говорят – “светлая личность”, – а я понимаю, что они хотят сказать. Это про нашего Острогорского иначе сказать нельзя, как на языке того времени, и напыщенность этого нелепого выражения уже не кажется смешной... Он был близорук, щурился, излучая глазами насмешливый свет... Я уверен, что у него была чеховская невообразимая улыбка. Поэтому он и гимназию свою создал такой, что в ней не нашлось места ни одному человеку в футляре».*

А.Я. Острогорским были приглашены в Тенишевское училище профессора из университета, академики, при-

ват-доценты, авторы известных учебников. *“Созвездие этих имен можно было сравнить разве что с тем блистательным кругом учителей, которые собрались в Пушкинском лицее”*¹. Среди множества известных преподавательских имен упоминается имя В.В. Гиппиуса, бывшего первым читателем и критиком своих подопечных, лучшие произведения которых публиковались в рукописных журналах Тенишевского училища. В 1907 г. под одним из стихотворений появилась подпись О. Мандельштама – ученика выпускного класса, а в другом сборнике под стихотворением поставил свою подпись другой тенишевец – В. Набоков².

В совет училища входили доктор медицины и основатель российской школьной гигиены А. Вирениус, доктор медицины И. Тарханов, редактор журнала “Педагогический сборник” А.Н. Острогорский (однофамилец директора). Все это были люди, уважающие личность воспитанников, отличающиеся терпением и чуткостью сердца. В час большой перемены учителя включались в подвижные игры вместе с учениками. По словам Набокова, *“...физик играл в снежки, а директор веселыми восклицаниями поощрял игру”*.

В “Шуме времени” Мандельштам рисует такую картину: *“На Загородном (до постройки нового здания на Моховой Тенишевское училище помещалось на Загородном проспекте), во дворе огромного дома с глухой стеной и издали видной боком шутовской вывеской – десятка три мальчиков в коротких штанишках, шерстяных чулках и английских рубашечках, со страшным криком играли в футбол”*. *“Наказаний у нас не было, – вспоминает Крепс, – в старших классах разрешалось курить, но т. к. это было разрешено – почти никто не курил”*.

Пункт устава, по которому в училище принимались дети всех вероисповеданий и всех сословий, – естественно приводил к тому, что в одном классе оказывались: сын чиновника высшего ранга В. Набоков и крестьянский мальчик Попов – сын разбогатевшего извозом промышленника; сын известного в Петербурге врача-психиатра Б.Н. Синани – Борис Синани и сын мастера по скорняжному делу – в будущем всемирно известный поэт Осип Мандельштам.

Прогрессивная воспитательная мысль, насыщавшая атмосферу училища, принесла свои плоды. Общие кор-

ни, выросшие из посеянных этой атмосферой семян, имели своим следствием то, что, несмотря на различные черты характера учеников и на разную степень их одаренности, — их объединяли черты нравственные: честность, правдивость, товарищество, благородство поступков, ясность мысли, бескорыстное увлечение своим делом. Этот нравственный фундамент срабатывал, даже если жизнь разводила людей. И тогда слово “тенишевец” — звучало для них паролем. Примером служит эпизод в лагере “Вторая речка” под Владивостоком, описанный Евгением Михайловичем Крепсом — ученым-физиологом, сосланным, как и Мандельштам, по ложному доносу на Дальний Восток: *«Кто-то сообщил Крепсу, что в лагере Мандельштам. Крепс, учившийся в Тенишевском училище в одном классе с В.В. Набоковым и Евгением Мандельштамом, младшим братом поэта, подошел к нему и обратился по имени-отчеству: “Здравствуйте, Осип Эмилевич!” Мандельштам сидел на земле и, глядя в пространство, никак не отреагировал на приветствие. “Осип Эмилевич, я тоже тенишевец — брат Термена Крепса...” Мандельштам тут же вскочил, обрадованно заулыбался и возбужденно начал вспоминать общих знакомых»*³.

* * *

Что касается судеб братьев Бруни, то они складывались совершенно по-разному, но дружба их не прекращалась до смерти Николая Александровича.

Лев Бруни, так и не окончив Тенишевское училище, с 15 лет начинает посещать классы Академии художеств. Начал он посещения с класса Ф. Рубо, но вскоре от него переходит к Н. Самокишу, от которого и получил хорошие основы рисунка. В 1911 г. недолго занимается у Я. Ционглинского, который пытался как-то связать жизнь академическую с бушевавшей вокруг академии художественной жизнью. Это обстоятельство и было причиной того, что в класс его набивалось вместо полагающихся 30–40 человек.

В 1912 г., 18-летним юношей, — не окончив на сей раз академии, — Лев Бруни уезжает в Париж. Как и многие его молодые друзья, он жаждет узнать “кухню” современной школы, поэтому учение идет чаще в выставоч-

ных салонах и музеях, чем в живописных мастерских. Что касается самого Парижа, то он несколько ошеломил юношу, выросшего в старых академических традициях семьи. В одном из писем Т.А. Полиевктовой (от 7-го октября 1912 г.) он сообщает: *“Жить в Париже мне нравится: сады в воскресенье, фонтаны с корабликами, дети... Ожившая картинка какого-нибудь из мирискусников! Но в идиллию прорывается проза индустриального века. Вечером никуда не выхожу: противно смотреть на этот фальшивый блеск, накрашенные губы, наглые глаза...”*

Знакомство с работами крупных мастеров того времени – Сезана, Леже, Марке, Мане – очень обогатило молодого художника, но не привело к подражанию.

Возвращение в Россию было радостным. В России ждали друзья, споры, выставки. Успех пришел быстро. В 1913 г. работы его выставляются, обращают на себя внимание, ранний расцвет таланта замечен, несмотря на то, что совпадает в Петербурге с показами работ таких мастеров, как П. Филонов, М. Шагал, М. Ларионов, Н. Гончарова, И. Пуни, К. Малевич, К. Петров-Водкин, М. Матюшина, Н. Альтман. Из перечисленных мастеров больше всего Л. Бруни сблизился с Н. Альтманом. Тогда же подружился он и с П. Митуричем, Н. Тырсой, с критиком Н. Пуниным. Внимание этой группы художников привлекала фигура В. Татлина – художника и экспериментатора. Творчество Татлина будило фантазию, вызывало желание работать, продолжать поиск.

К работам Л. Бруни этого периода относятся: портрет К. Бальмонта (1915 г.), портрет композитора А. Лурье (1915 г.), портрет О. Мандельштама (1916 г.), “Радуга” (1916 г.).

Когда критики еще обсуждали “Радугу” в 1916 г., Льва Александровича призвали в армию, однако из-за дефекта слуха (результат перенесенной в детстве скарлатины) в 1917 г. он был демобилизован.

После недолгой службы в армии Лев Бруни примыкает к левому блоку Союза деятелей искусств. *“Пунин, Брик, Маяковский, Шкловский, Венгеров, Рейснер, Шаков, Мейерхольд, Татлин и многие другие собирались у нас на квартире, объединенные футуристическим задором и левыми политическими убеждениями...”* – пишет Лев Александрович об этом времени в краткой автобиографии.

Летом 1917 г. он сначала едет в Одессу, где находился в то время выздоравливающий от ран, полученных на войне 1914 г., брат Николай, а затем едет на Южный Урал в семью своей будущей жены. Осенью снова возвращается в Москву, живет у Татлина и работает в левом секторе Союза художников. В 1918 г. семейные обстоятельства снова позвали Льва Александровича на Урал. Он поехал, ничего не понимая в окружающей его политической обстановке, и таким образом на некоторое время оказался отрезанным и от друзей и от настоящего искусства. 22 мая 1919 г. Лев Александрович обвенчался с дочерью поэта К.Д. Бальмонта, только что окончившей гимназию. Знакомство было давним, он знал ее еще девочкой, т. к. в юности часто гостил в семье Бальмонта в Ладыжене под Тарусой.

* * *

В 1919 г. на юге Урала разгорелась война, и это послужило причиной того, что молодая пара эвакуировалась на восток вместе с училищем, в котором преподавал Лев Александрович. Когда подошла Красная армия, Бруни остались в Омске, а некоторое время спустя оказались в Новосибирске. И тут и там жилось им очень трудно, голодно, Нина Константиновна тяжело болела сыпным тифом. Помог им вызов, посланный Н.Н. Пуниным. Так оказались они снова в Петрограде, где были друзья и интересная работа.

Шел 1920 г. Возрождалась жизнь культурных учреждений, начали работать Эрмитаж и Русский музей. Начали выходить журналы по искусству, и Лев Александрович убедился, что его работы не забыты, он увидел их репродукции в "Изобразительном искусстве". В этом же 1920 г. был куплен ряд работ Льва Бруни для Музея живописи и скульптуры в Петрограде. Очень привлекало Л. Бруни оформление массовых праздников. Вместе с В. Конашевичем он разрабатывал планы украшения улиц и площадей города. Впоследствии он очень любил рассказывать об этом периоде. Однако основное время художник отдает рисунку. Рисует много, легко, с удовольствием, увлеченно и в Петрограде, и в Оптиной пустыни, куда начинает часто уезжать и где периодически живет с 1920 г.

Оптина пустынь, расположенная в семидесяти километрах от Калуги, среди вековых лесов, орошаемых чистой и в то время полноводной речкой Жиздрой, привлекала с давних времен внимание русских художников и писателей. В Оптиной гостил Николай Васильевич Гоголь, бывал Федор Михайлович Достоевский, туда, уйдя из Ясной Поляны, направился Лев Николаевич Толстой. Сначала единичные, а затем все более частые приезды в эти места наводят Льва Александровича на мысль, что художник должен жить непременно в общении с природой. Он мечтает организовать коммуну “Пастухов искусства”. Мастера искусства должны были, по его идее, и трудиться на земле и быть одновременно во главе культурной жизни края. Организовать такую коммуну оказалось слишком трудным делом, но некоторое время существовала мастерская игрушек, в которой работали крестьяне из соседних деревень.

* * *

В 1920 г. у Льва Александровича и Нины Константиновны родился их первенец Иван (ныне заслуженный деятель искусств, художник-график). В рисунках Льва Александровича появляется новая тема. Рисунок “Лето. 1920 год” изображает коляску с ребенком и приютившихся около нее новорожденных щенков. Рисунок 1923 г. “Мать и дитя” – Нину Константиновну с сыном на руках. Эта работа поражает пластичностью и теплотой. Вообще, в этот период рисунок для Льва Александровича становится не подготовительным этапом к живописи, а самоцелью. Однако он не делается “семейным фотографом”, а остается художником. Он чувствует – и нас заставляет чувствовать – очарование той или иной сценки или лица и добивается этого не только точностью воспроизведения, а нешаблонностью взгляда. “Минимум средств и максимум выразительности” – этот девиз изобразительного искусства того времени становится и девизом Льва Бруни.

Как пример воплощения этой идеи, Ракитин в своей книге “Лев Бруни” приводит “Портрет жены” 1921 г.: *“... При внешней обманной эскизности рисунка все предельно закончено. Все лишнее отброшено. Здесь есть сходство, ощущается своеобразная прелесть этого ли-*

ца, но намечен и некий более широкий образ – чистота женской красоты, возвышенность духовного мира". В конце двадцатых годов Лев Александрович начинает преподавать в монументальном отделе ВХУТЕМАСа. Жить семье в Москве было негде, и они воспользовались предложением Виктора Петровича Киселева – преподавателя института и театрального декоратора, который уступил им в здании ВХУТЕМАСа на Мясницкой комнату. Но дети редко оказываются в Москве, большей частью живут с кем-нибудь на Рыбной даче около Оптиной. Только достигнув школьного возраста, они проводят зиму в Москве.

Следующему, почти полному двадцатилетию жизни семьи Бруни – я была уже свидетелем и привожу дальше мои воспоминания.

* * *

Впервые я увидела Льва Александровича Бруни 22 января 1931 г. на концерте Владимира Владимировича Софроницкого. Накануне этого дня мне позвонила Александра Эмильевна Визель, приехавшая вместе с Владимиром Владимировичем в Москву, и сказала, что он оставил ей два пропуска на свой концерт, один – для Екатерины Алексеевны Бальмонт, а другой для меня.

Стояли сильные морозы в Москве в ту зиму, и в Большом зале Консерватории было очень холодно. Кутаясь в шерстяной платок, я, сидя на своем месте, читала взятую с собой книгу. Внезапно я почувствовала, что кто-то стоит рядом. Несколько робея, я подняла глаза и увидела рядом с собой не высокую, седую Екатерину Алексеевну, а человека средних лет, гармонично сложенного, во всей осанке которого ощущалась свобода и непринужденность. Карие глаза его, один из которых чуть косил, смотрели с приветливой улыбкой. *“А я вместо Екатерины Алексеевны. Она нездорова и не пошла в концерт”*, – сообщил он.

Подошедшая Александра Эмильевна представила нас друг другу. После концерта мы все троем отправились в артистическую поблагодарить Владимира Владимировича. *“Давайте поедem сейчас к Вареньке”*, – предложил Владимир Владимирович после того, как все разошлись и артистическая опустела. Александра Эмильевна повез-

ла Владимира Владимировича и Льва Александровича в Чистый переулок, где мы с моим первым мужем Всеволодом Владимировичем Некрасовым временно снимали комнату, а я побежала купить какой-нибудь еды, чтобы покормить всех после концерта. В тот вечер Лев Александрович большей частью молчал, но улыбка не сходила с его лица и от всего его облика веяло такой естественностью и простотой, что в первые же часы немногословного общения с ним я совсем не чувствовала мучительной стеснительности, так свойственной мне обычно. После скромного угощения отдохнувший Владимир Владимирович затеял, как он часто любил это делать, разные игры. Тут были и фанты, и шарады, и загадки, и буримэ.

Лев Александрович не принимал участия в них. Сидя поодаль, он с улыбкой поглядывал на по-детски веселившегося Владимира Владимировича и негромко рассказывал Всеволоду Владимировичу о грузинском художнике Пиросманишвили. Перед уходом Владимир Владимирович надписал ноты прозвучавшей в концерте *fis-moll'*ной сонаты Шумана и подарил их мне. Уже одетый, стоял в дверях Лев Александрович и, продолжая улыбаться, наблюдал за этой сценой. Как сейчас вижу его в поддевке небеленого домотканого сукна и в коричневой барашковой шапке. Все в нем было необычно – и облик, и одежда. После этого вечера Лев Александрович был у нас еще несколько раз в Чистом переулке. В середине февраля мы снова переехали на Таганку к отцу Всеволода Владимировича – Владимиру Дмитриевичу Некрасову.

* * *

28 февраля мой муж был арестован. Люди, окружавшие меня в то время, в том числе и сослуживцы мужа, по-разному относились к этому обстоятельству. Большая часть – отошла, ожидая, чем все это кончится. Меньшая часть не изменила ко мне своего отношения, однако чем-либо помочь пытались немногие. Среди этих немногих оказались совсем недавние мои друзья – Нина Константиновна и Лев Александрович Бруни.

С Ниной Константиновной Бруни-Бальмонт я познакомилась весной 1931 г. В конце мая я получила теле-

грамму из Ленинграда от Александры Эмильевны Визель, в которой она просила встретить ее на вокзале. Александра Эмильевна вместе со своим отцом – художником Эмилем Оскаровичем – сопровождали Софроницкого в концертной поездке в Тбилиси, где он должен был дать несколько сольных и несколько двухрояльных концертов вместе с Марией Веняминовной Юдиной. В обозначенный в телеграмме день и час, подбегая к вагону, я увидела высокую женщину в сером с длинным розовым гладиолусом в руке. Это и была Нина Константиновна Бруни, с которой меня познакомила Ада⁴ Визель.

Вместе мы доехали на трамвае до Мясницких ворот, а оттуда пошли пешком к дому против почтамта, где тогда жили Бруни. Глядя на оживленного, менее чем всегда скованного Владимира Владимировича, на улыбающегося, как всегда приветливого и остроумного Эмиля Оскаровича, на радующихся встрече Аду и Нину Константиновну, я особенно остро ощутила контраст их настроения со своим внутренним состоянием: накануне я узнала, что мой муж приговорен к десяти годам концлагеря. Внезапно крупными, блестящими на солнце каплями хлынул грибной дождь. Внимательно посмотрев на меня, Владимир Владимирович вдруг схватил меня за руку и помчался, перепрыгивая через сверкающие на солнце лужи, по тротуару. Каким чутьем он понял, что со мной происходит?! Но понял. И помог. Это не был исключительный случай. Без лишних слов он всегда умел поддерживать человека в те жестокие годы.

Весь день мы провели у Бруни. Лев Александрович почти не вставал из-за низкого столика, рисуя иллюстрации к одной из очередных книг. У него был срочный заказ.

Тогда же я впервые увидела в этой огромной комнате с большими антресолями, на которых, как мне объяснили потом, спали и играли дети брата Льва Александровича – Николая Александровича Бруни. Хотя разница в возрасте братьев была всего в три года, Николай Александрович казался значительно старше. Может быть, легкая хромота и отсутствие полной свободы движений были тому причиной. Взгляд его таких же, как у брата, карих глаз был внимателен, сосредоточен и задумчив. Вероятно, узнав у брата, что проездом у них будет Софроницкий, Николай Александрович надеялся послушать

его, но Владимир Владимирович был в каком-то ребячливом и веселом настроении, все время шутил, рассказывал смешные истории и даже не подошел попробовать рояль, несмотря на неоднократные намеки Нины Константиновны. Вечером мы с Ниной Константиновной проводили Визелей и Софроницкого на вокзал. Прощаясь, она ласково пригласила меня приходить к ним.

* * *

Эта весна была очень трудной для меня. Я училась на двух отделениях в Училище Гнесиных, жила на крошечную стипендию и заработок от уроков. В этот период Бруни часто бывали у меня. Иногда – вдвоем, иногда – один Лев Александрович. Как-то он пришел, когда я учила фугу Баха, и помолчав сказал: *“...Я бы на твоём месте сейчас работал бы как сумасшедший!”* Эти мимоходом сказанные слова – указали мне верный путь: я не имела права ни приходить в отчаяние, ни опускать руки. Работа спасла меня тогда, как спасала и много позже. Как-то Лев Александрович вздумал написать мой портрет в стареньком розовом платье, сохранившемся от школьного выпуска. У меня совсем не было времени, я опаздывала, приходила с большими перерывами, в конце концов Лев Александрович очень рассердился и на этом же холсте начал новую работу. В книге Н. Ракитина “Лев Бруни” (Москва, 1970 г., “Советский художник”) помещены репродукции двух акварелей, датированных 1928 г. Это ошибка: они появились в 1932 г., когда сестра ученика Льва Александровича – Юры Павильонова – Муся Павильонова и я прожили неделю у Бруни в лесной сторожке под Козельском. В посланном мне перед этим письме Лев Александрович писал: *“...Приезжайте скорее, сейчас природа одета в сплошной зеленый цвет всех оттенков! Потом – не то: зацветут травы, начнет лето”*.

Мы с Мусей выехали ночью. Утром были в Козельске. Нас встретила Нина Константиновна с лошастью и телегой. До сторожки было 12 километров, и мы, сложив вещи на телегу, пошли пешком по лесным дорогам. Дивные там были места! Нехоженые. Березовые просеки, красные от земляники, так и манили. Уже недалеко от сторожки нас встретили старший из детей – Ваня Бруни

с ручным вороном на плече и жена Николая Александровича Бруни – Анна Александровна, с которой я познакомилась зимой 1931–1932 гг. Иногда я встречалась с ней и Николаем Александровичем дома у Бруни, но чаще – в концертных залах Москвы. Особенно запомнилась мне первая встреча, когда Николай Александрович познакомил меня со своей женой. Это было в Большом зале Московской Консерватории на исполнении h-moll'ной Мессы Баха, крупном музыкальном событии сезона. За чембало сидел Исая Александрович Браудо, профессор по классу органа. В свое время он тоже кончал Тенишевское училище и еще с тех пор был дружен с Николаем Александровичем. Дружба их продолжалась и позже, в Петербургской Консерватории.

В тот раз я впервые увидела Анну Александровну и была поражена ее красотой. Правильные черты ее лица сияли детской чистотой и добротой. Огромные сине-серые глаза смотрели задумчиво и серьезно. Светло-русые волосы без всяких ухищрений были заколоты большим пучком на затылке. “Сольвейг” – называла я ее про себя, и всякий раз, когда видела, – это имя звучало во мне. Позже я узнала от Нины Константиновны, что ее мать – Екатерина Алексеевна Бальмонт – взяла к себе Анечку от своей подруги. Анечка восемь лет прожила в семье Бальмонтов в Париже. Девочки очень подружились, росли как сестры, а позже – вышли за двух братьев Бруни: Нина – за Льва, а Аня – за Николая.

От Нины Константиновны я узнала и об удивительной судьбе Николая Александровича. После того, как оба брата Бруни были помещены в Тенишевское училище, главными интересами Николая Бруни продолжали оставаться музыка и языки. Он продолжает профессионально заниматься роялем и изучает иностранные языки, в том числе и эсперанто. Позже, уже поступив в Петербургскую Консерваторию, он не чуждается и литературной деятельности, входит в первый Цех поэтов. Печатается в “Гиперборее”, в “Голосе жизни”, в “Новой жизни”. Развитие этой многосторонней деятельности прерывает мировая война. В 1914–1915 гг. по соображениям морали и чести Николай Александрович уходит на фронт добровольцем. Через некоторое время храбрость и мужество его были награждены всеми Георгиевскими крестами и званием полного Георгиевского кавалера. Служил он в

авиации. В 1916 г. аэроплан, на котором он летел, потерпел аварию и врезался в землю. Несмотря на множественные переломы, Николай Александрович остался жив. Узнав о случившейся беде, семнадцатилетняя Анечка, еще в юности сделавшая для себя свой выбор и оставшаяся верной этому выбору до конца своей жизни, приезжает ухаживать за ним в Одессу. Николай Александрович поправился. Женился на Анечке и принял сан священника, так как считал свое спасение чудом. Приходы его были в разных местах: под Харьковом, в Козельске, в Москве, под Клином и в самом Клину. Нина Константиновна, которая вместе со Львом Александровичем была на похоронах Александра Блока, рассказывала мне о том, какое сильное и незабываемое впечатление на всех присутствующих на отпевании поэта произвел Николай Бруни, своей службой и своим надгробным словом провожавший его в последний путь.

* * *

В 1932 г. Лев Александрович и Владимир Андреевич Фаворский начали работу над фресками в музее материнства и младенчества на Пречистенке. Однажды той зимой я пришла к Бруни. Лев Александрович усадил меня на низенькую скамеечку, дал в руки мячик и велел подбрасывать и ловить его, а сам тем временем сделал несколько набросков, которые потом перенес на фреску в музее, так же как и наброски, сделанные им с Нади Городецкой, дочери поэта Сергея Городецкого, который часто бывал у Бруни вместе с дочерью и своей женой Нимфой Алексеевной. Подробно об этой работе можно прочесть в книге Ракитина “Лев Бруни” на стр. 72–78. Фреска эта не сохранилась по техническим причинам. Через 10 лет от нее уже ничего не осталось – к сожалению, так как, по словам Ракитина, “...в этой фреске Бруни удалось сохранить всю тонкость и свежесть эскизного акварельного наброска”.

Дом Бруни стал для меня местом, куда я могла придти со всем, что во мне было, и где меня, как и многих других, принимали без лишних слов. Сама атмосфера дома умиротворяла и давала силы, и не только мне, а многим. Вступительное слово А. Чегодаева, написанное к каталогу выставки работ Льва Бруни (“Советский ху-

дожник”, Москва, 1979 г.), говорит о том же. “В доме Бруни, – пишет Чегодаев, – постоянно не было ни гроша. Жизненное благополучие мало чем отличалось от нищеты, но он не придавал этому ни малейшего значения, так же как и жена его Нина Константиновна, дочь поэта Бальмонта. Никакая рассудочность не могла бы найти там пристанища, зато вся жизнь была пронизана насквозь художественным творчеством, ненасытной творческой изобретательностью, огромным, не знающим ни меры, ни усталости, ни остановки трудом самого высокого класса, самого высокого мастерства, самой глубокой поэтической тонкости. Это приводило к тому, что Бруни занимался искусством как чем-то абсолютно естественным, не имеющим никакого особенного значения”.

Видимо, это и было причиной стремления многих людей к общению с Львом Александровичем. Н.Н. Пунин в своих воспоминаниях, относящихся к Петроградскому периоду, в главе “Квартира № 5” (в Деламотском флигеле Академии художеств, принадлежавшей С.К. Исакову – хранителю академического музея и отчиму обоих братьев Бруни) пишет: “...Мы собирались там обычно раз в неделю по вечерам. Пили чай, ели картофель с солью, в конце 16-го года стали приносить с собой хлеб и сахар... К весне засиживались до голубого окна. Не было ничего необычного в наших встречах, даже в рассвете... В белые ночи мы провожали друг друга, шли по пустынным набережным мимо дворцов... Иногда садились на каменные скамьи набережных и ждали восхода солнца, золотой иглы Петропавловской крепости. Над головами загорались маленькие облака... В квартире № 5 собиралось много народу... Постоянно бывали там Артур Лурье, Натан Альтман, Тырса, Осип Мандельштам, Николай Бруни, Митрохин, Клюев, Бальмонт... Собираелем и организующим центром нас – вовсе не похожих друг на друга – был Лев Бруни. Бруни любили, любили за мягкость его отношений, за юмор... Был он моложе всех нас, казался мальчиком, но умел собирать людей и сталкивать их лбами”.

Естественность, открытость, остроумие – соединение этих черт – неотразимо притягивало ко Льву Александровичу многих людей. Недаром в своих воспоминаниях о муже Надежда Яковлевна Мандельштам, касаясь харак-

тера Льва Александровича, пишет: “...*Наши общий любимец Лёва Бруни*”. Иногда мимоходом сказанное им слово поражало точностью и емкостью. Так, на всю жизнь запомнилась мне фраза из его письма: “*Сокровища надо беречь, даже если ими не пользуешься*”. В 1932 г. Лев Александрович с семьей переехал из здания ВХУТЕМАСа на Мясницкой в квартиру на Большой Полянке.

* * *

Всеми любимые,
Нужные всем, –
Полянка, сорок четыре,
Квартира пятьдесят семь.

Не помню, кто из друзей Бруни сочинил это четверостишие, но оно соответствовало истине⁵. В двух небольших комнатах этой коммунальной квартиры, где жили и другие художники, – бывали многие. Бывал Владимир Андреевич Фаворский – седовласый, седобородый, степенный, вызывающий у молодежи благоговение мудростью, талантом и мастерством. Его ученики – Лев Ричардович Мюльгаупт и Михаил Иванович Пиков. В те годы только что вышли “Рубаи” Омара Хайяма с гравюрами Мюльгаупта. Пиков очень часто приходил с флейтой и под аккомпанемент Нины Константиновны играл старинную музыку. Бывали скульптор Нина Ильинична Нисс-Гольдман с дочерью. Из Кукрыниксов чаще всего приходил Куприянов.

Когда на Полянку приходил Николай Александрович Бруни с женой и детьми, то для посторонних взрослых места уже не было – дети заполняли все пространство. Из детей Льва и Нины Бруни я никогда не видела только Андрюшу. Зимой 1932 года Лев Александрович позвонил мне по телефону, и я услышала его прерывающийся голос: “*Варюшенька... У нас маленький умер!*” Через час я была на Полянке. Старшие дети – Ваня, Ниночка и Лаврик жили зимой в Москве, а двухлетний Андрюша оставался в сторожке с преданной семье Бруни женщиной, которую все звали Феничка. Андрюша заболел дифтеритом. Его не успели довести на санях до больницы, и он умер в пути.

Я застала Нину и Льва в спешных сборах. Никогда не забуду осунувшегося лица Нины с сухими, лихорадочно

блестевшими глазами. *“Главное для меня сейчас – не вступить на путь обвинения”*, – сказала Нина, прощаясь со мной на вокзале. С этой чертой ее характера я в тот раз столкнулась впервые. Не перестаю удивляться ей и сейчас.

Старшего – Ваню – я увидела впервые, когда ему было 12 лет. Только что приехав из Козельска к началу учебного года, он уже лег спать, но, услышав, что кто-то пришел в соседнюю комнату, попросил отца, чтобы он привел меня к нему. В летних сумерках я наклонилась к подушке, чтобы рассмотреть детское лицо, но не успела сделать это, как Ваня вскочил и крепко чмокнул меня в щеку, будто век знал! Именно это ощущение открытости сохранила память. Наверное, эта же черта помогла ему начать переписку со мной, когда ему было уже за шестьдесят, а мне – за семьдесят. Нине Константиновой было уже трудно писать мне часто, и он сообщал мне и о ее здоровье, и о многом другом. Я очень благодарна ему за эти письма.

Ниночке было девять лет, когда я ее увидела впервые – высоконожую, темноглазую, коротко остриженную. Дома ее называли “добродетельная Тротти”, с таким усердием и удовольствием занималась она хозяйственными делами. Доброта была и осталась главной чертой ее характера. Когда в 1933 г. у меня родился сын, в первый же день моего возвращения из больницы ко мне пришли Бруни и принесли старое цинковое корыто. Это был самый замечательный подарок по тем временам. Вскоре маленькая Ниночка, услышав от родителей, что у меня мало молока и что мой малыш остается голодным, попросила у родителей разрешения снести в Торгсин свое золотое колечко. Ей разрешили, и она купила там и принесла мне овсянки, которой хватило Алеше на несколько месяцев. Помню это всю жизнь. Встречаясь с ней позже, когда она сама была уже матерью троих детей, я неизменно ощущала тепло этой исходящей от нее доброты.

Лаврика я помню всегда сдержанным. Зеленые как крыжовник глаза смотрели как-то замкнуто. У него был хороший музыкальный слух и тяга к импровизации. Однажды я пришла к Бруни с композитором Виктором Волюшиным. Прислушиваясь к импровизации Лаврика, Виктор сказал: *“Хозяином себя чувствует за роялем!”*

Когда Лаврика отдали в музыкальную школу, он начал лениться и как-то заскучал. Нина Константиновна стала присылать его ко мне, чтобы подтянуть немножко. Он хорошо сыграл свою программу на экзамене, но музыкальную школу оставил. Началась война. Не кончив средней школы, он ушел добровольцем на фронт. Дома он оставил письмо родителям, которые с трудом добрались в Москву из Крыма с маленькой Марианной. В письме он писал, что иначе поступить не может. Очень быстро он оказался в плену. Бежал. По дороге встретил наши части во главе с генералом, который знал Льва Александровича, так как перед войной он расписывал фресками плафон Театра Красной Армии. С попутной машиной Лаврик был отправлен в Москву и оказался дома 6 января 1942 г., в день рождения своей матери! По неопытности он просрочил явку в военкомат. По законам военного времени он был арестован и сослан в лагерь. Там сильно отморозил ноги. В таком виде для лечения его отпустили домой, но когда страшные раны кое-как зажили, то его 1 мая 1943 г. вновь мобилизовали. Вскоре он был убит под Смоленском, где и похоронен с воинскими почестями в 19-то лет! *“Я получила мое письмо к Лаврику и извещение о его смерти в июле 1943 года, – писала мне Нина, – но прибрала его и не показала Леве, который уезжал в командировку в Алма-Ату. Я сказала ему все, когда он вернулся в ноябре”*. Сильная воля стоит за этой фразой.

Наташа Бруни родилась на три месяца позже моего Алеши. Лева очень счастливый приехал в Пушкино, куда я на лето увезла Алешу. *“Какая у меня дочка родилась! Красавица!”* – восхищался Лев Александрович. Маленькую Наташу я помню молчаливой и застенчивой девочкой, лицом похожей на отца. Ей не было еще и четырех лет, когда она заболела токсической скарлатиной. Болезнь началась в Малоярославце. С трудом ее перевезли в Москву, но спасти девочку не удалось. Наташа умерла. Помню вечер после похорон ее. Мы были вдвоем с Ниной, и она день за днем рассказывала мне про болезнь и смерть Наташи. Я не задавала вопросов. Только слушала.

Васе тогда было месяцев 10. Все боялись, что он тоже заболеет, но он продолжал прыгать в своей кроватке, держась за сетку, – крепенький, кареглазый и живой.

Позже я помню его лет пяти, когда в один из моих приездов в Москву с Алешей Александра Степановна Житкова устроила для Алеши и Васи елку. Потом помню уже юношей, когда он приезжал из Москвы в Ленинград на физкультурные соревнования. Но все это были отдельные встречи в разном возрасте. Близким он мне показался недавно, когда начал периодически появляться в Ленинграде по делам. Он ведь был подростком, когда умер Лева, и не мог помнить его так, чтобы сознательно подражать ему. Нет, это голос крови сделал его похожим на отца. После его отъезда у меня осталось чувство нечаянно-го свидания слевой.

Марианну до войны я видела совсем крошкой, у Нины на руках. После войны — худенькой, до прозрачности бледненькой пятилетней девочкой. Школьницей она приезжала на каникулы в Ленинград к Визелям и часто бывала у меня. В Москве я кроме Полянки встречала ее на концертах Софроницкого и вместе с Ниной Константиновной у него дома, в последнем его жилище на Песчаной улице. В 14 лет она была очень похожа на “Девушку с веером” Ренуара. Сейчас она мать троих детей и известный в Вильнюсе художник-модельер. В последние годы жизни Нины Константиновны я встречалась с ней именно в доме Марианны. Последний раз мы виделись с Ниной Константиновной летом 1988 г. тоже в доме Марианны.

* * *

С 1929 г. Николай Александрович Бруни живет с семьей в Москве и работает в Московском авиационном институте (МАИ). В 1934 г. он был арестован. По рассказам Нины Константиновны, причиной ареста был инцидент, связанный с посещением института французским инженером, которому в присутствии Николая Александровича переводчик давала неверные объяснения. Николай Александрович, свободно владевший французским языком, вмешался в разговор с целью исправить ошибку переводчика. Непосредственно после этого случая он был арестован, получил пять лет концлагеря. Лагерь этот находился в Свердловской области недалеко от Ухты. Когда через год Анна Александровна получила разрешение на свидание с мужем, то вернулась через некоторое время в очень подавленном состоянии, с уверенностью, что

из этого лагеря почти никто не освобождается: люди или погибали от истощения, или за ненадобностью расстреливались. Анна Александровна, которая в этот период стала приходить ко мне, была потрясена и дорогой в лагерь. До Свердловска она добиралась поездом. Затем шел водный путь. И, наконец, пеший. По болотистому лесу, гудящему от гнуса, приехавшие тащили вещи на волокушах, сплетенных из веток. Зимой водный путь замерзал, и сообщение прекращалось до следующего лета. Через два года она снова подала заявление, просила повторного свидания. Ей было отказано. Тогда она решила ехать без разрешения. Весь страшный путь проделала еще раз, почти не имея надежды. Детям, оставшимся в Малоярославце, куда они были выселены из Москвы, она не сказала, что едет без разрешения, а старшему из них — Мише — было в то время всего 15 лет. Насте — 11; трое — Алла, Таня и Агния, которую дома называли Гуля, были совсем малышами.

Когда все случайные спутники с пропусками прошли, Анна Александровна подошла к караульному зоны и попросила: *“Сынок,пусти меня с мужем проститься!”* И он, глянув на нее, пропустил. И указал, куда идти, чтобы не попасться на глаза начальству.

В 1937 г. отмечалось столетие со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина. Начальством лагеря было предложено Николаю Александровичу создать памятник поэту. Руки Николая Александровича были не только руками пианиста. Они могли делать все. Несмотря на отсутствие материала для арматуры, которая как скелет необходима для создания любой скульптуры, Николай Александрович проявил свойственную ему находчивость. Работая иногда в лагере печником, он задумал воспользоваться как арматурой кирпичами и связующим их составом. Работал он над своей скульптурой в лесном балагане, который построил вдвоем со своим помощником. Там же они и жили, охраняя свою работу, которая близилась к концу, когда около балагана оказалась Анна Александровна. Появление ее ошеломило Николая Александровича. Овладев собою, он распорядился так: *“Жить будешь здесь,но днем ни на минуту не выходить и весь день молчать.Есть будешь то, что привезла мне.Когда увидишь, что еда кончается, сразу уходишь”*. Анна Александровна ухитрилась так прожить почти

месяц. Прощаясь, оба знали, что прощаются навсегда. А на каменном постаменте памятника уже стали вырубаться рукой Николая Александровича слова Пушкина:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг – отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Николай Александрович был расстрелян в 1938 г. Об этом я узнала от Нины Константиновны. Подробности стали мне известны от ее дочери Анастасии Николаевны только в 1992 г. Привожу ее рассказ:

«В один из вечеров лета 1938 года заключенные лагеря были построены в линейку и дана команда: “Каждый четвертый шаг вперед”. В числе “четвертых” оказался и Николай Александрович Бруни. Было объявлено, что эта группа будет переведена в другой лагерь. Заключенные знали, что это значит, и стали прощаться друг с другом. Рано утром их построили и повели лесом. На месте расстрела, перед заранее вырытым рвом, произошла заминка: часть охраны, не выполнившая команду “стрелять!”, была в свою очередь расстреляна. Один из раненых, случайно уцелевший охранник, скатился в яму и там замер. Ночью пробрался к родным в деревню.

Созданный Николаем Александровичем памятник Пушкину был перенесен впоследствии в Ухту и установлен в детском парке. Случайно узнав об этом, одна из дочерей Николая Александровича приехала посмотреть на работу своего отца. Каким-то образом ей удалось встретиться с этим свидетелем последних минут жизни Николая Александровича. Он рассказал ей, что после команды “стрелять!” поднялась паника среди заключенных. Тогда седой и седобородый старик, перекрывая своим голосом поднявшиеся крики, вопли и проклятия, громко и спокойно сказал: “Братья! Умрем достойно!” – и начал читать отходную молитву».

Так узнала я из рассказа дочери Николая Александровича о последних минутах жизни ее отца. Жизни человека удивительного и прекрасного в самом высоком смысле этого слова. В середине сороковых годов я узнала, что Анна Александровна, вернувшись к детям после прощания с мужем, жила с ними в Малоярославце и ра-

ботала в школе преподавательницей немецкого языка. Когда немцы заняли Малоярославец, они мобилизовали ее на работу переводчицей. При вступлении наших войск в Малоярославец Анна Александровна была арестована и отправлена на десять лет в концлагерь. Только недавно я узнала, что в 1956 году, когда началась общая реабилитация, она была вызвана к начальнику лагеря и произошел следующий разговор: *“Вы неграмотная, Анна Александровна?” – “Нет, грамотная. Я же учительницей в школе работала”. – “Так почему же вы не подавали заявления об освобождении? У вас же ничего нет в деле! Ни статьи, ни решения тройки, ни срока!” – “Я подавала, и дети подавали, но ответа не было”*. Ее освободили, и детям дали возможность восстановить свои права. Во время ее заключения был сбит грузовиком и умер ее старший сын Миша и убита током дочка Дашенька. Она прожила около оставшихся в живых дочерей еще два года и тихо умерла.

* * *

Когда в 1944 г. я оказалась в Москве, то застала Нину Константиновну и Льва Александровича в плохом физическом состоянии. Нина Константиновна жаловалась на сердце. Лев Александрович очень исхудал, ослабел и был молчалив и мрачен. Улыбка, почти всегда раньше освещавшая его лицо, не появлялась. Все произошедшее с Лавриком переносилось им очень тяжело. Возможно, это горе было толчком к его болезни или, не являясь причиной, усугубило ее. Хотя он никогда не говорил со мной о гибели Николая Александровича, но это было вторым большим горем тех лет. В воспоминаниях Надежды Яковлевны Мандельштам есть упоминание о неоднократных вызовах Льва Александровича на Лубянку. Было ли это связано с арестом Осипа Эмильевича Мандельштама или с судьбой Николая Александровича и его жены, – неизвестно, но совокупность всех обстоятельств привела Льва Александровича к началу его смертельной болезни.

Старший сын Иван, получивший серьезное ранение на фронте, к тому времени был уже демобилизован. Судьба его как художника определилась. Приходя к Бруни, я все чаще видела Ваню за работой над книжной

графикой. Лев Александрович чувствовал себя то хуже, то лучше. В 1946 г. я переехала окончательно в Ленинград. Но письменная связь с Бруни была постоянной. Привожу некоторые письма Нины Константиновны, так как они дадут более живую картину последних лет и месяцев жизни Льва Александровича и его семьи, чем пересказ их.

22 апреля 1947 года:

«Милая Варюша! Спасибо за письмо. Я на днях читала его Ване и Леве, которые слушали с умилением. Мы без тебя скучаем и тебя вспоминаем... Лева – худ, устает и хотя работает, но не по-прежнему, не весело... Ваня тоже худ, бледен и нервен. Надо ему готовиться к экзамену, а он в трансе. Нинуша – цветет (несмотря на бедность). Сегодня гуляла со своей “девой красоты”. Действительно, малютка прелестна, что-то в ней есть фарфоровое: синева глаз, нежность щечек. Леша⁶ говорит, что любит ее, но всегда прибавляет: “Олечка – плохой, Леша – хороший”. Васька иногда рисует, очень хорошо, прямо талантливо, но больше носит, уроки делает наспех. Марианна ужасно бледна, веснушки так и торчат...»

22 декабря 1947 года:

“...Лева все болеет, и очень тяжело. 25 декабря будет четыре месяца, что он в клинике лечебного питания. Рентген показал, что энтерит не прошел. Болезнь идет то лучше, то хуже, его очень поддерживает переливание крови, но все-таки белков не прибывает. Он худ ужасно, и надоело ему все (особенно доктора). Я у него бываю через день. Одно время он уже гулял по часу во дворе, обедал за столом, мечтал о Кисловодске. Врачи не очень обнадеживают, так как он истощен сильно и слаб”.

8 января 1948 года:

“Милая Варюша! Вчера понесла твое письмо Леве в больницу, он очень был доволен и просил тебя поцеловать. Лева сейчас в хорошей полосе, но я боюсь радоваться: так несколько раз уже было. Болезнь его энтерит, истощение, авитаминоз. То, что это заболевание дис-

трофическое, видно из особого анализа крови. У него мало белков в крови. Сейчас вес 52,72 кг., а был 40 кг., одно время они думали, что это рак, но потом сказали, что ошиблись. Певзнер сначала обещал вылечить Леву, а доктор Берман смотрит пессимистически... Леве много вливают крови, и это очень хорошо на него действует”.

23 апреля 1948 года:

“Милая Варюша! Письмо твое читала Левушке, и он очень был доволен. С ним все хорошо. Мед он уже давно пьет и дня без него не хочет быть. Переезд его в Кремлевку должно быть выйдет... Министр подписал письмо МОСХ’а...”

В середине февраля 1948 г. я оказалась проездом в Москве. Лев Александрович был дома перед переездом в Кремлевскую больницу из клиники Певзнера.

Открыла мне дверь Нина. Впервые за 17 лет я увидела ее в слезах. Тут-то в передней она сказала, что Леве стало снова хуже. Мы вошли в комнату, где он лежал. Чуть поодаль за маленьким столиком работал Ваня. Рядом с ним сидела Екатерина Алексеевна Бальмонт. Лев Александрович очень изменился за то время, что я его не видела. Не просто похудел, а как-то высох. Говорил он очень тихо, и в голосе его порой слышались какие-то детские интонации. Ни на что не жаловался. Нина принесла ему еду (шпинат с яйцом). Ел он медленно, нехотя, видно было, что ему это трудно, но он не хочет огорчать Нину.

“Обязательно приходи на обратном пути”, – сказал он мне, прощаясь. Я обещала. “Ну, как вы его нашли?” – спросила меня вышедшая перед этим в проходную комнату Екатерина Алексеевна. Я подошла к окну, у которого она стояла. Екатерина Алексеевна продолжала: “Ведь что касается духа, то он в хорошем состоянии?” “Что касается духа, – да”, – ответила я. Так я видела их обоих в последний раз.

Седьмого марта я получила открытку от Нины. На ней стояли две даты обращения ко мне:

«26 февраля. Дорогая Варенька!.. 4 марта. Милая Варюша! Я начала тебе писать в тот самый четверг, но

решила написать, вернувшись из Кремлевки. Так и пролежала эта открытка до сегодня. Как я рада, что ты повидала его на прощание! Он сказал мне в среду: “Смотри, не пугайся и никого не пугай. Все идет как надо; все очень хорошо”. И так все и шло – “очень хорошо и как надо” – и в четверг, и в церкви, и в МОСХ’е, и на кладбище – все были объединены этим чувством гармонии, единодушия и его присутствия с нами.

Я не могу тебе написать много сейчас, т. к. Васю устроили на месяц в Артек и много хлопот, он уезжает третьего марта, а Марианна (недаром ты о ней так беспокоишься) простудилась на кладбище, и у нее ангина и 39,4 температура. Она очень жалкая, ничего не ест. Сейчас заснула после доктора.

Завтра уже девятый день, и многие снова придут к нам. Ваню и меня очень поддерживают друзья, особенно Ниночка. Она просто замечательный человек. Но еще ничего не понимаю. Крепко тебя целую, моя милая, и Ваня тоже. Н.»

О том, что было в МОСХ’е на похоронах Льва Александровича, я прочла много лет спустя в статье Нины Константиновны, помещенной в сборнике воспоминаний о Марии Вениаминовне Юдиной (Москва, “Советский композитор”, 1978 г., с. 53–61).

Мне хочется начать с отрывка из этих воспоминаний, в котором описывается первый приход М.В. Юдиной в дом Бруни: *«К нам на Полянку Мария Веняминовна Юдина пришла 5 мая 1936 года. Мы справляли именины ученика Льва Александровича – Юры Павильонова... Вошла она очень смущенная и сразу, не садясь, заговорила с моим мужем; она сказала, что хочет учиться у него живописи, что ей мало музыки, что ей необходимо второе дело. Муж спросил ее: “Сколько вам лет?” Она вспыхнула очень обидевшись и резко ответила: “Если бы вы пришли ко мне просить учить вас музыке, я бы не спросила, сколько вам лет.” Лев Александрович ласково с ней заговорил, объяснил ей что-то – он замечательно умел располагать к себе людей; она успокоилась, села с нами за стол, поужинала... Потом долго играла на моем (тогда еще не очень расстроенном) Бехштейне».*

Привожу второй отрывок из воспоминаний Нины Константиновны: *«Теперь не помню, кто сообщил*

Марии Веняминовне о смерти Льва Бруни. На гражданской панихиде в старом помещении МОСХ'а в Ермалаевском переулке она играла совершенно замечательно Баха и Мусоргского "Картинки с выставки". Все, кто приходил в зал, еще на лестнице спрашивали: "Кто это играет?" Стоя у гроба, я не видела Марию Веняминовну, пока мой младший сын Вася не сказал мне: "Мама, это Мария Веняминовна играет. Играет и плачет, у нее на коленях лужица слез". Я обернулась и увидела: опустив голову, играла она, а слезы лились непрерывно по ее лицу, стекая на черное шерстяное платье».

Читая это описание гражданской панихиды по Льву Бруни, нельзя не вспомнить, как много близких людей проводила она своей музыкой в последний путь. В 1960 г. играла она на гражданской панихиде по Борису Леонидовичу Пастернаку. 31 августа 1961 г. играла на гражданской панихиде по Владимиру Владимировичу Софроницкому. В 1964 г. провожала она своей музыкой в Академии художеств Владимира Андреевича Фаворского.

В своей статье "Несколько слов о покойном, драгоценном художнике Владимире Владимировиче Софроницком" Мария Веняминовна написала слова, подходящие к любой из этих и еще многих теперь потерь нашего поколения: *"Как бывает почти всегда – кончина, смерть – открывает как бы вертикаль ушедшего человека, его единое звучание, ибо все земное уже совершено и не разворачивается в разнообразном пересечении динамики жизни и времени"*.

Вертикаль-аккорд всех свойств таланта и человеческой личности надо держать на педали памяти для тех, кто живет, и для тех, кто будет жить. В этом оправдание любой, даже несовершенной попытки записать то, что помнишь.

1992 год

Postscriptum

По случайному стечению обстоятельств, Зоя Николаевна Бруни – вдова Михаила Николаевича Бруни – сына

Николая Александровича Бруни, прочла мое письмо к Евгению Михайловичу Пекелису, с которым я делилась своими воспоминаниями об этой семье. Привожу отрывок из первого письма ко мне Зои Николаевны: *“Я была совершенно потрясена тем, что, оказывается, есть еще человек, который так хорошо говорит и так хорошо помнит о Николае Александровиче, Анне Александровне и Михаиле Николаевиче Бруни”*. Письмо это было датировано 14/5 1993 г. За прошедшие с тех пор полгода я получила из Тамбова пять длинных писем о судьбе Михаила Николаевича Бруни – ее покойного мужа и о судьбе их детей: Алексея Михайловича Бруни, известного скрипача, лауреата двух международных конкурсов, и о его сестре Наталье Михайловне, окончившей графический факультет Орловского педагогического училища и преподающей сейчас в Тамбовском педагогическом училище весь цикл изобразительных искусств. *“Так что и в ней, видимо, откликнулись гены художников Бруни”*, – пишет Зоя Николаевна.

Письма Зои Николаевны дают возможность восстановить судьбу ее мужа, человека совершенно незаурядного и в смысле одаренности его натуры, и в смысле высоких нравственных качеств, что и побуждает меня к написанию данного P.S.

В письме от 15/7 1993 г. она пишет: *“Дорогая Варвара Борисовна! Благодарю Вас за сердечное письмо, которое я получила уже неделю назад... я считаю своим долгом рассказать Вам о Мише и его детях... В одном письме я не смогу все уложить, буду писать с продолжением. Родился Михаил Николаевич Бруни 14/7 1919 г. Где-то в это же время Николай Александрович был рукоположен в священники. Семья много раз переезжала с места на место, в зависимости от того, где находился приход. Я этих переездов насчитала семь или восемь... Дома своего у них не было. Семья росла... В 1934 г. Николай Александрович был арестован. Остались жена и шесть человек детей. Из квартиры их тут же выгнали. Детей разобрали родственники и знакомые. Анне Александровне было предписано уехать за 101 км от Москвы, и она уехала в Малоярославец, где и обосновалась потом семья”*.

Далее Зоя Николаевна пишет, что Миша до ареста отца брал уроки на скрипке у одного из лучших педаго-

гов, но после ареста отца уроки эти кончились: денег не было на самое необходимое. Учась в школе в Малоярославце, Миша полюбил различные виды спорта и хорошо себя в них проявил. После окончания школы поступил в Московский институт физкультуры и спорта. До войны одновременно с учебой работал на радиозаводе. В 1941 г. завод эвакуировали в Ташкент, а так как у Миши была бронь, то несмотря на его неоднократные просьбы и заявления в армию его не брали. Он попал туда только в 1945 г. и сразу же был направлен в минометное училище. По окончании войны он был демобилизован и отправлен на учебу на второй курс, где и оказался в одной группе со своей будущей женой. Во время учебы в институте он все же пытался систематически заниматься скрипкой и уходил на верхнюю площадку лестницы и там “отводил душу”, по словам Зои Николаевны. Любил он доставшийся ему от отца инструмент фанатично и берег как зеницу ока.

Окончили Зоя Николаевна и Михаил Николаевич институт в 1949 г. и были направлены по распределению в Тамбов. Там Михаил Николаевич сразу же поступил в Педагогический институт на факультет физ. воспитания. Вел футбол, плавание, лыжи, велосипед. Все предметы трудоемкие, связанные с погодными условиями, ни в какое сравнение не идущие с гимнастикой или волейболом. И несмотря на это – влечение к музыке все время проявлялось. Он пел в хоре. Уже в возрасте 30-ти лет пытался наверстать упущенные занятия на скрипке, ходил в музыкальное Тамбовское училище. Но из-за его возраста никто из педагогов училища не воспринимал всерьез это страстное желание овладеть инструментом. И он перестал играть. Но когда в 1954 г. у него родился сын, начал играть снова. Играл над кроваткой сына. Начал ставить пластинки и записи классиков. Когда Алеше исполнилось шесть лет, отец повел его в музыкальную школу. У мальчика оказался абсолютный слух. Через три года Алешу приняли в школу-десятилетку при Московской консерватории, а по окончании ее – в аспирантуру. В 1977 г. получил лауреата на конкурсе им. Паганини в Генуе, а в 1987 г. – в Париже на конкурсе им. Тибо. Алексей Михайлович работал в Большом симфоническом оркестре под управлением Федосеева, в

государственном оркестре под управлением Светланова. В 1990 г. Михаил Плетнев и Алексей Бруни создали Русский национальный симфонический оркестр, в котором Алексей Михайлович стал главным концертмейстером и солистом оркестра.

“Мишина великая мечта и беззаветная любовь к скрипке реализовалась в сыне”, – пишет Зоя Николаевна. – “...Сын скрипач – это его создание, он вел Алешу по этой дороге 21 год”.

Михаил Николаевич Бруни погиб в дорожной катастрофе в 1975 г. 9 апреля. Он ехал в пединститут на велосипеде. Внезапно дорогу перебежала женщина. Михаил Николаевич резко затормозил и попал под идущий сзади автобус. *“Хоронил его город – потрясаяще. Народу было видимо-невидимо. Он был очень оригинальный, очень интересный человек, его знал весь город. Да еще такая внезапная смерть. И вот его уже нет 18 лет”, – пишет Зоя Николаевна в письме от 20/7, вспоминая мужа: “Всю жизнь до последнего дня он делал зарядку и был так же красив и строен, как в 18 лет”.*

В моей памяти Михаил Николаевич остался мальчиком-подростком, Мишей Бруни. В начале 30-х годов я шла от Арбата по Николо-Песковскому переулку к Собачьей площадке в Училище им. Гнесиных, где я тогда училась. Вдруг из дома, что перед Музеем А.Н. Скрябина, выбежали два мальчика лет двенадцати. В том, что бежал впереди и держал футбольный мяч, я узнала Мишу Бруни. За ним бежал его двоюродный брат Яльмар Кристенсен. Узнав меня, Миша вежливо поздоровался. Запомнились мне стройность и свобода движений подростка, его серьезный и чистый взгляд. Таким и помню его.

Всю жизнь.

¹ См.: Гаген Т. “Принимаются дети всех вероисповеданий и всех сословий” // Учительская газета. М., 1990, 31 января.

² Стоит отметить, что оба выступали под псевдонимами: соответственно “Фитиль” и “Сирий”.

³ См.: Нерлер П. “С гурьбой и гуртом...” Хроника последнего года жизни О.Э. Мандельштама // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. Париж, 1989. С. 373.

⁴ Александра Эмильевна.

⁵ По сообщению Василия Львовича Бруни, автором стихотворения был художник Ю. Казмичев, друг Н.А. Бруни. Он приводит и несколько иную версию: “Лучшая в мире, / Нужная всем – / Сорок четыре, / Пятьдесят семь”.

⁶ Леша Киселев – старший брат Олечки Киселевой. Оба – дети Виктора Петровича Киселева и старшей дочери Нины Константиновны – Нины Львовны Бруни-Киселевой.

Варвара Борисовна Некрасова

Варвара Борисовна Некрасова была человеком редкой душевной красоты. Каждый визит в крошечную квартирку на улице Рашетова – к ней и ее мужу, Игорю Борисовичу Синани (сыну школьного друга Мандельштама) – надолго оставлял самое светлое, ободряющее ощущение. Еще несколько лет назад она предоставила нам для публикации замечательный материал о семье Бруни; со многими из членов этой семьи судьба сводила и Мандельштама. В ответ на просьбу о маленькой биографической справке для раздела “Об авторах” она прислала нам достаточно развернутый материал. 5 февраля 1997 года ее не стало, и мы сочли уместным поместить присланные ею заметки.

Автобиографическая справка

Я родилась в 1909 году в Санкт-Петербурге. Моя мать Эльза Бернардовна Лемке (1884–1918) после окончания Ивановского училища была принята на фортепианное отделение Петербургской консерватории в класс проф. Николая Степановича Лаврова. В 1908 году она вышла замуж за Бориса Владимировича Лемке, с которым развелась через год после моего рождения. Окончила консерваторию в 1916 году.

На сохранившейся у меня фотографии Александра Константиновича Глазунова его автограф: “Эльзе Бернардовне Лемке от горячо желающего ей продолжить успешно начатую ею на выпускном экзамене артистическую карьеру искренне преданного ей А. Глазунова. 1916-й год 10 мая”.

Пожелание Александра Константиновича не сбылось: мама умерла в сентябре 1918 года. Мне было девять лет. Время было трудное, голодное и холодное.

Родственники передавали меня из рук в руки. Разумеется, при таком кочевом образе жизни никто не обращал внимания на мое образование. Только в 1921 году, когда мне уже шел тринадцатый год, я нашла, наконец, приют в семье младшей маминой сестры – 18-летней Сонечки, которая только что вышла замуж за Эдуарда Николаевича Гольдберга, юриста по образованию и очень хорошего человека. Началось мое систематическое обучение. После полуторагодовой домашней подготовки мне, в конце концов, удалось поступить в пятый класс 51-й советской школы – бывшей гимназии Марии Николаевны Стаюниной, в те годы сохранившей педагогический состав, подобранный ею. В нашем классе была классной руководительницей и преподавательницей географии Татьяна Александровна Быкова. После выпуска нашего класса она ушла из школы и долгие годы работала в отделе редкой книги Государственной Публичной библиотеки. Долгие годы я продолжала поддерживать с ней дружеские отношения.

Одновременно меня нашла самая близкая подруга моей матери – Екатерина Францевна Дауговет, которую в своем предсмертном письме мама просила быть моей духовной матерью. Она взяла в свои руки мое музыкальное образование. В то время она была доцентом консерватории, но одновременно вела фортепианный класс в Василеостровской музыкальной школе, куда через один год занятий с ней я и была принята. Настоящая серьезная музыка была фоном всего моего младенчества и детства, но только в последнюю зиму 1917–1918 года мама, вдруг спохватившись, начала заниматься со мной. За недолгие месяцы последней нашей зимы ей удалось посадить во мне росток желания заниматься именно этим делом.

Не окончив еще музыкальную школу, я вышла замуж за Всеволода Владимировича Некрасова и оказалась в Москве, где была принята в Училище имени Гнесиных на фортепианное отделение. Через некоторое время в училище открылось отделение музыкальных руководителей на радио. Пропаганда классической музыки в то время казалась мне делом очень нужным и интересным. Я попросила Елену Фабиановну разрешить мне учиться на двух отделениях. Мой педагог по фортепиано – Алек-

сандр Степанович Яппо, кончивший МГК у проф. Игумнова и постоянно имевший параллельно с педагогической работой в училище исполнительскую работу в радиокомитете, поддержал мою просьбу, и Елена Фабиановна согласилась. Учиться на этом отделении было очень интересно. Углубленный курс истории музыки, который блестяще вел проф. МГК П.С. Пекелис, увлек меня, и библиотека консерватории стала постоянным местом моей работы, кроме фортепиано.

В 1931 году 28 февраля был арестован мой муж. Он ни в чем не был виноват. Конечно, я сразу сказала о своей беде и Елене Фабиановне, и Александру Степановичу, и Михаилу Самойловичу. Яппо и Пекелис считали, что все обойдется. Елена Фабиановна не утешала меня, она просто сказала: “Сейчас это часто бывает”. Она не лишила меня стипендии и дала несколько адресов родителей, желавших иметь студента Гнесинского училища для занятий с детьми. Таким образом, я имела возможность существовать с моим маленьким сыном.

В мае 1931 года я узнала, что Всеволод Владимирович приговорен к 10 годам концлагеря.

В 1936 году я окончила оба отделения училища. За год до окончания по совету Елены Фабиановны я взяла фортепианный класс в Лосиноостровской музыкальной школе.

На последнем экзамене по истории музыки, удовлетворенно ставя мне “отлично”, Михаил Самойлович задумчиво сказал: “Надо бы в консерваторию, но при ваших обстоятельствах даже пытаться не стоит”. Не только в консерваторию, но и на радио меня работать не пустили. Однако я не восприняла этого трагически. Я любила свою педагогическую работу и всю жизнь с благодарностью вспоминаю Елену Фабиановну Гнесину, у которой прослушала курс методики обучения детей игре на фортепиано.

В 1936 году был досрочно освобожден Всеволод Владимирович Некрасов и назначен на работу на строительство плотины под Рыбинском. В связи с этим я оказалась в Рыбинской музыкальной школе. Но жизнь наша, едва начавшаяся в 1930 году, шла трудно: мы оба очень изменились за эти шесть лет и во многом перестали понимать друг друга. В конце концов дело кончилось мирным разводом.

В 1940 году я вышла замуж за друга моей юности – Игоря Борисовича Синани. В 1941 году началась война, и Игорь Борисович ушел добровольцем на фронт, хотя и имел возможность не идти. Был забронирован военным институтом, в котором тогда работал. Первую военную зиму я с восьмилетним сыном провела, работая в колхозе в деревне в ста километрах от Казани, там, где вмерзли баржи, плывшие в ноябре по замерзающей Волге, наполненные женщинами с детьми. Работала в колхозе до весны. Весной снова поплыли с сыном по Волге и Каме. Родственники были эвакуированы под Нижний Тагил и звали к себе. Там я проработала телефонисткой в пожарной команде с августа 1942 года по октябрь 1944. В моей трудовой книжке даже отмечена благодарность и премия за оперативное тушение пожара на домне.

К этому времени пришел вызов из Москвы, посланный Эдуардом Николаевичем Гольдбергом. В Москве я нашла приют в семье Гольдбергов и возобновила работу в Лосиноостровской музыкальной школе. Несмотря на окончание войны в мае 1945 года, Игорь Борисович был демобилизован еще через год. На некоторое время мы, переехав в Ленинград, оказались без крова. Потолок в нашей комнате был пробит снарядом.

Налаживание жизни проходило в трудных условиях. У меня сдало сердце, и некоторое время я совсем не могла работать. Даже спуститься и подняться на пятый этаж не всегда могла. Обретя эту возможность, я пошла работать руководителем фортепианного класса при Доме ученых. Там я проработала с удовольствием семь лет, так как инициативы мои никем не стеснялись. После этого я перешла в вечернюю Музыкальную школу № 4 Фрунзенского района, где и проработала 17 лет до выхода на пенсию в 73 года.

Самой большой радостью моей жизни были люди. Судьба была щедра ко мне в этом смысле и, как бы компенсируя мое раннее и круглое сиротство, дарила мне дружбу и близость с людьми редкостными по уму, благодетельству и одаренности талантом.

“Воспоминания о семье Браудо” – семье маминого двоюродного брата – относятся к моему раннему детству, но большая часть их относится к судьбе сына Александра Исаевича Браудо – Исая Александровича Браудо.

Мне было 17 лет, когда Екатерина Францевна Дауговет привела меня в семью художника Эмиля Оскаровича Визеля. Отношения с этой семьей, главным образом дочерьми художника Александрой и Татьяной, превратились в полувековую дружбу. После смерти старшей сестры, Александры Эмильевны, в 1974 году Татьяна Эмильевна передала мне собрание документов, имеющих отношение к творческому пути Владимира Владимировича Софроницкого, который 20 лет занимался на любимом им Бехштейне в этом доме.

Мне понадобилось несколько лет работы, чтобы привести этот большой архив в порядок и написать комментарий. После этого материалы были переданы в рукописный отдел Петербургской Публичной библиотеки, где обрцовался фонд Софроницкого (Ф. 112–89).

С семьей художника Льва Бруни и его жены Нины Константиновны Бруни-Бальмонт меня познакомила тоже Александра Эмильевна Визель. Знакомство это тоже превратилось в крепкую долговременную дружбу.

Борис Степанович Житков и его сестра Александра Степановна Житкова стали моими близкими людьми в самый трудный период моей жизни. Мой трехлетний сын Алеша стал прообразом мальчика Алеши-почемучки в книге Бориса Степановича.

Многие еще сохранились в памяти. Я пишу о них.

ЛИТЕРАТУРА

1. Книга В.И. Ракитина “Лев Бруни”. Москва. 1970 г. “Советский художник”.

2. Статья Чегодаева. Написана к каталогу выставки работ Льва Бруни, состоявшейся в 1979 году в связи с тридцатилетием со дня смерти художника в Союзе художников.

3. Рукопись, переписанная рукой Нины Константиновны Бруни-Бальмонт, “Квартира № 5 из воспоминаний Н. Пунина”. Рукопись подарена мне Ниной Константиновной и находится у меня.

4. Статья Т. Гаген была напечатана в “Учительской газете” 31.01.1990 г. Называется она “Принимаются дети всех вероисповеданий и всех сословий”.

5. Сведения о письме Льва Александровича из Парижа напечатаны на 9 стр. книги “Лев Бруни” Ракитина (в том числе и имя адресата). Находится в пояснении текста № 3 на 110 странице книги “Лев Бруни”. Хранится это письмо от 22.09.1912 г. в отделе рукописей ГТГ ср. 117, ед. хр. 156.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. “Что я помню о Борисе Степановиче Житкове”. Написано в 1982 году к столетию со дня рождения писателя. Напечатано в журнале “Семья и школа” № 9, 1982 г. под названием “Свет личности” (инициатива редакции).

2. “Что я помню об Екатерине Францевне Дауговет”. Написано к столетию ее рождения. Напечатано в Вильнюсе на литовском языке в № 9, 1983 г. “Svyturys” (“Маяк”). Редакция заменила название автора словами, взятыми из письма А.К. Глазунова, приведенными в статье: “Никогда не забуду”.

3. “Что я помню о Марии Вениаминовне Юдиной”. Принято ред. для второго изд. сборника воспоминаний о Марии Вениаминовне Юдиной. Пока второе издание не появлялось.

4. “Преемственность поколений” (Е. Кульман, Р. Шуман, Е. Дауговет). Принято редакцией “Санкт-Петербургских новостей”. Пока не напечатано.

5. “К нескольким работам художника Эмиля Оскаровича Визеля”. Домашний архив В.Б. Некрасовой.

6. “Воспоминания о В.В. Софроницком”. Напечатано во втором изд. “Воспоминаний о Софроницком”.

7. “Что я помню о семье Бруни”. Первый вариант находится в фонде В.В. Софроницкого в Публичной библиотеке. Второй вариант, дополненный, отдан П.М. Нерлеру для публикации в Мандельштамовском сборнике (см. в наст. сборнике – Р е д.).

8. Мой реферат “Попытка анализа методических установок прошлого по детской записной книжке Вовы Софроницкого” (Записи его уроков с Лебедевой-Гецевич, первые полтора года занятий). Книжка и реферат в фонде Софроницкого (Ф. 112–89). В отделе рукописей Русской Национальной библиотеки.

9. “История одного автографа”. Не опубликовано. Домашний архив В.Б.Н. Также содержится в первой главе “Детство” “Творческий путь В.В. Софроницкого”.

10. “Софроницкий в дни войны”. Опубликовано в журн. “Музыкальная жизнь”, № 9, 1988 г.

11. “Устные рассказы Александры Эмильевны старшей”. Это рассказы о летних приездах П.И. Чайковского в имение Каменка, принадлежавшее тогда сестре Чайковского – Татьяне Ильиничне. Управляющим этим имением был отец Александры Эмильевны Визель – Эмиль Страусс, а ей самой было в те годы шесть-семь лет. Рассказы записаны мной. Прочитавшая их среди материалов, посланных мной в “Советскую культуру”, журналистка Лашичева отправила их в музей П.И. Чайковского в Клину. Об этом я узнала, получив регистрационный номер и благодарность из музея П.И. Чайковского.

12. “Воспоминания об Елене Фабиановне Гнесиной”. Написано для второго издания сборника статей – “Елена Фабиановна Гнесина”. Второе издание пока не вышло. Мои воспоминания находятся, судя по письму ко мне Маргариты Эдуардовны Риттих, в Музее-квартире Елены Фабиановны Гнесиной.

13. “Воспоминания о Михаиле Самойловиче Пекелисе”. Находятся в музее-квартире Елены Фабиановны Гнесиной.

14. “Александр Степанович Яппо”. Находится в Музее-квартире Елены Фабиановны Гнесиной. Один из экземпляров отдан для печати Анатолию Михайловичу Кузнецову. По его просьбе.

15. “Творческий путь Владимира Владимировича Софроницкого”. Первый вариант находится в Русской Национальной библиотеке в фонде Софроницкого. Второй вариант, дополненный и расширенный, в Музее-квартире Елены Фабиановны Гнесиной и в фонде Екатерины Францевны Дауговет в музее С.-Петербургской консерватории.

16. “Соня, Женья, Вера”. Воспоминания о сестрах моей матери Эльзы Бернардовны Лемке. Мой архив.

17. “Мои учителя”. Екатерина Сергеевна Федорова, ученица Веры Тимоновой, любимой ученицы Листа, Екатерина Францевна Дауговет, Александр Степанович Яппо, Михаил Самойлович Пекелис, Елена Фабиановна Гнесина. Мой архив.

18. “Забытые страницы”. Мои детские воспоминания о Борисе Францевиче Дауговете.

19. “О семье Синани”. Напечатано – Мандельштамовский сборник: “Сохрани мою речь”. Москва 1991 г. Изд. “Обновление”.

20. “Письма из Франции”. Письма Софроницкого к семье Визель с моими комментариями. Опубликовано. Журнал “Музыкальная жизнь”, 1994, № 2.

21. “Одна из историй 30-х годов”. История ареста и шести лет концлагеря моего первого мужа Всеволода Владимировича Некрасова. Мой архив.

22. Отзыв на реферат педагога Гуревич: “Детский альбом” П.И. Чайковского и “Детская музыка” С. Прокофьева. Мой архив.

23. История балета “Мертвая царевна и семь богатырей”. Музыка Лядова-Дешевцова. Мой архив.

24. “История одной из работ художника Льва Бруни (1894–1949)”. Находится в музее А.А. Блока.

25. “Что я помню о семье Браудо”. Находится в Русской Национальной библиотеке, в Музее-квартире Елены Фабиановны Гнесиной.

26. Обработки материалов, имеющих отношение к творческому пути Владимира Владимировича Софроницкого. Материалы собирались 40 лет Александрой Эмильевной Визель. Нам были переданы после ее смерти в 1974 году ее младшей сестрой Татьяной Эмильевной Визель. Материалы эти, после приведения в порядок и снабженные моими комментариями (кроме 11 полученных от Нины Григорьевны Ширяевой, к которым писала комментарии), были переданы мной Русской Национальной библиотеке и составили фонд Софроницкого (Ф. 1289, 142 ед. хр.).

27. Обработка материалов, имеющих отношение к жизни и творческому пути доцента по классу фортепиано Петербургской консерватории Екатерины Францевны Дауговет (1882–1942). Умерла в блокаду от голода. Собрание содержит 42 единицы хранения, в том числе фотокопию письма Александра Константиновича Глазунова, характеризующего Екатерину Францевну с самой лучшей стороны как музыканта и человека. Подлинник письма находится в моем домашнем архиве.

О ПАВЛЕ ЗЕНКЕВИЧЕ

Сергей Зенкевич, внук Михаила Зенкевича, пишет, что в Москве и, в частности, у них в семье полагали, что произошла “путаница”: должны были посадить акмеиста, много лет связанного с посаженным В. Нарбутом, а не моего отца – переводчика Павла Болеславовича Зенкевича, не имеющего с ним ничего общего. Действительно, семья не была в родственных отношениях с семьей Михаила Зенкевича, а слухи о “путанице” ходили по Москве. Ведь в те страшные годы достаточно было шапочного знакомства с тем, кого сажали, чтобы посадили и тебя. Да и случалось, что впрямь путали этих двух Зенкевичей, даже притом, что творчески между ними не было ничего общего. Михаил Александрович – поэт, акмеист, органически связанный с Серебряным веком русской поэзии, остался верен поэзии и как переводчик. Павел Болеславович Зенкевич (он родился в 1886 году, предположительно в Царском Селе) – по своему образованию актер, музыкант, филолог – всю первую половину своей жизни посвятил театру и, вынужденный из-за болезни дочери покинуть театр, остался ему верен, переводя главным образом драматургию. С большим успехом в переводе его и Н. Крымовой в Камерном театре шли пьесы О’Нила “Негр”, “Любовь под вязами”, “Анна Кристи” и др. Но, несмотря на все различие сфер деятельности обоих Зенкевичей, их путали даже в писательской среде. Так, в 1934 году, когда формировался Союз писателей и отбирались литераторы, достойные членства, то

отец получил извещение, что ему в приеме отказано, и очень огорчился. Когда же он попытался в Союзе выяснить, на каком основании ему отказано в приеме, выяснилось, что он давно принят, а трудности возникли не у него, а у Михаила Александровича.

Но в нашей семье мы в это не верили и никогда серьезно не относились к подобным разговорам, хотя на допросах отца и расспрашивали об акмеистах и его связях с поэтами. Узнали мы подробности дела сравнительно быстро, так как отцу удалось в то время, когда его везли в ссылку на Колыму, выбросить в окно подробное письмо, а добрые люди нам его переслали. Но и до получения этого письма мы с матерью догадались, кто основной доносчик, состряпавший дело, и понимали, что он заинтересован в том, чтобы убрать со своей дороги именно Павла Зенкевича. Михаил Зенкевич ему не мешал. Фамилия этого человека В. Тарсис. В те времена он служил в ГИХЛе, заведовал отделом литератур на языках народов СССР (название может быть сформулировано неточно, но смысл правильный). Отец с ним был тесно связан, так как тогда переводил главным образом с украинского языка (ко времени ареста он владел 14 языками). Такое направление определялось в основном нетерпимостью ленинградского Реперткома, почти не допускавшего постановки переводных пьес зарубежных авторов. Ведь и О'Нил был разрешен с литерой "В", то есть только для Камерного театра (литера "А" означала рекомендацию пьесы для всех театров, литера "Б" означала разрешение, а литера "В" – разрешение только для конкретного театра). П. Зенкевич был хорошим переводчиком, и украинские авторы с ним охотно работали, например Микола Кулиш, Иван Микитенко, Юрий Яновский, Юрий Смолич и др.

Тарсис выдавал себя за переводчика с украинского и после ареста отца подписал своим именем все работы, сделанные отцом, но еще не опубликованные, и заставил Яновского и Смолича работать с ним, намекая на то, что с ним ссориться не стоит. Это мне рассказал Смолич, единственный из украинцев, не побоявшийся с нами видеться, что было определенным героизмом в те годы. Он же при первой возможности (1938 г.) опубликовал разгромную статью о Тарсисе, в которой очень убедительно доказывал полную профессиональную неграмотность его как переводчика.

Путаница, которую допустил В. Тарсис в своем доносе, приписывая факты, связанные с биографией Михаила Александровича, Павлу Болеславовичу, явно не случайна. Тарсис обвинил людей, проходивших по этому процессу, в том, что они составляют контрреволюционную группу, в которую якобы входили Нарбут, Поступальский (женатые на сестрах), П. Зенкевич и Шлейман-Коробан. Для того чтобы они не могли сказать, что просто незнакомы, Тарсис под каким-то предлогом собрал всех их у себя. По-видимому, для доказательства связи между ними была использована и путаница между Зенкевичами. Но все относящееся к Михаилу Зенкевичу вскоре отпало. Когда в 1962 г. В. Тарсис начал публиковать за границей свои антисоветские мемуары, к И. Поступальскому звонили из Правления Союза писателей и предложили выдвинуть против В. Тарсиса официальное обвинение в ложном доносе. Он позвонил мне. Я ответила Игорю Стефановичу, что пусть уж они сами разбираются со своими холуями, и И. Поступальский решил не возбуждать обвинения (к тому времени Павел Зенкевич, Нарбут и Коробан были уже в могиле).

Чтобы закончить описание этого трагического процесса, в котором погибли и Нарбут, и мой отец, и Шлейман-Коробан, умерший вскоре после своего освобождения, надо сказать несколько слов о жене Поступальского Лидии Густавовне (по первому мужу – Багрицкой). Когда был вынесен приговор, прокурор Е. Карлов собрал всех жен у себя в кабинете и зачитал им его. Выслушав, женщины вышли из прокуратуры, и тут же на ступенях подъезда у Лидии началась истерика. Она кричала о несправедливости приговора, о том, что он обрекает невинных людей на гибель. При этом ее больше всего волновала судьба Нарбута, так как его увечье заведомо обрекало его на смерть. Сразу появился некто с блокнотом, старательно записывавший, а потом и Карлов. После того, как женщинам удалось как-то успокоить Лидию Густавовну, Карлов подошел к ней и сказал: “Если бы Вы кричали у меня в кабинете, я мог бы как-то помочь Вам. Имейте в виду, что через три дня Вас арестуют”. Из ссылки она вернулась лишь после гибели на фронте своего сына – многообещающего поэта Всеволода Багрицкого.

Г. Катанян

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ “ИНЫХ УЖ НЕТ, А ТЕ ДАЛЕЧЕ...”

“В тот день, когда Саша Фадеев привел к нам Николая, у меня на обед была толма. Это маленькие голубцы из баранины, завернутые в виноградные листья. Подавала я эту толму так, как учила меня армянка, долго жившая в Турции, – с мацони и корицей.

Увидев толму, Николай упал на колени, целуя мне руки и что-то крича по-болгарски. Оказалось, что такую толму готовят в Болгарии. Он решил, что Саша устроил ему сюрприз и привел в дом, где хозяйка болгарка.

С этой толмы и началась наша дружба. Было это в 1933 году. Мы жили на Разгуляе...”

Это – из воспоминаний моей мамы Галины Дмитриевны, которые она писала в 1959 году. Глава озаглавлена “Иных уж нет, а те далече...”. В ней речь идет об А. Фадееве, П. Павленко и Николае Христофоровиче Шиварове. В начале тридцатых годов мои родители думали, что Н.Х.Ш. работает в отделе литературы ЦК, я тоже так запомнил с детства. Приходя к нам, Н. Шиваров часто приносил мне новые детские книжки, которые тогда были дефицитом. “Он получает все новинки по долгу службы”, – говорил папа. Думаю, что Фадеев и Павленко знали, где на самом деле работал Шиваров (вспомним эпизод, описанный Н.Я. Мандельштам, когда П. Павленко прятался в шкафу следователя).

И вот в 1960 году мы с мамой (еще тайно) прочли отпечатанный на папиросной бумаге первый том Н.Я. Мандельштам с главой “Христофорыч”. Я помню, как вскрикнула мама, когда, перелистнув страницу, она увидела заглавие “Христофорыч”. Прочитав эти несколько страниц, она была потрясена. Я тоже пришел в большое смятение, ибо помнил этого человека у нас в доме, знал дальнейшую его судьбу. “Боже мой, с кем мы дружили! Кто ходил к нам...” – сказала мама, обрета дар речи.

Она написала “Иных уж нет...” прежде, чем прочла правду у Н.Я. Мандельштам. Этим я объясняю ту симпатию, с которой она рассказы-

вает о Шиварове – так, как она к нему относилась. Если бы она писала ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ, то не смогла бы рассказать о нем так же. Но даже после всего, что она узнала, она не стала редактировать главу. “Я не беспристрастный историк, это как бы мои дневниковые записи. Я хочу сохранить свои ощущения тех лет и впечатления от тех людей. Что было – то было”.

С Петром Павленко мои родители познакомились еще в Тифлисе, продолжали знакомство в Москве. Мама одно время была даже кем-то вроде его литературного секретаря-помощника, подбирая Павленко материалы для романа о Шамиле. Она дружила с его первой женой, которая рано умерла, потом была в хороших отношениях с Н.К. Трениной, его второй женой, сохранилось несколько писем. И мама искренне оплакивала Павленко, ибо он был для нее верным другом и поддерживал ее в тяжелые дни. К его творчеству она относилась прохладно, но на эту тему они не говорили.

Они встречались домами – мои родители, Павленко с женой, Фадеев, Шиваров с Люси... То у нас, то у них. Все это было до поры до времени – в 1938 году мои родители разошлись, а Шиваров...

Приведу несколько отрывков из главы “Иных уж нет...”, имеющих отношение к Н.Х. Шиварову. Когда в 1980 году, при переезде на новую квартиру, мама приводила в порядок свой архив, она написала небольшое предисловие к воспоминаниям о нем. После рассказа о знакомстве, который я привел вначале, следовало:

“Болгарин Николай Христофорович Шиваров, коммунист-подпольщик, по профессии был журналист. В двадцатых годах он бежал в СССР из болгарской тюрьмы, как потом смутно до меня дошло – за какое-то покушение.

Он был высок, красив, несмотря на небольшую лысину и туповатый короткий нос, и очень силен. Он раскалывал грецкий орех, зажав его между средним и указательным пальцами.

В то время, как я знала его, он пользовался огромным успехом у женщин, что не мешало ему нежно любить жену и быть прекрасным семьянином. Я для него была женой товарища, т. е. неприкосновенна, но была поверенной его любовных тайн и дружила с его женой Люси, очень хорошенький блондинкой, великолепным окулистом. Она впоследствии стала профессором, специалисткой в области лечения туберкулеза глаз. В 1968 году она умерла в Ленинграде, где гостила у сестры, на улице, по дороге в театр.<...>

После убийства Кирова Шиваров начал говорить, что хочет уйти с работы и заняться журналистикой. Мы удивлялись – почему, зачем? Он, конечно, знал почему и зачем, это МЫ не знали. Лишь в 1937 году ему удалось уйти с Лубянки”.

Далее привожу отрывки, которые были написаны – повторяю – до прочтения книги о Мандельштаме. В 1965 году мама, брошюруя листы, исправила кое-какие опiski и опечатки, сделала новую нумерацию страниц и, расписавшись, поставила дату: 1959–1965.

Николай Христофорович Шиваров

Однажды утром, когда я еще лежу в постели, он входит ко мне в комнату, в пальто и шапке. Визит его для меня полная неожиданность, т. к. незадолго до этого он был переведен на работу в Свердловск, в газету.

– Христофорыч, откуда вы?

– С вокзала, – говорит он. – Еще не был дома. Старушка, вставайте, одевайтесь, вы нужны мне.

– Что случилось, Николай?

Он вертит шапку в руках.

– Одна добрая душа сообщила мне, что видела ордер на мой арест. Пусть это сделают здесь, чтоб Люси не нужно было таскаться в Свердловск с передачами, – мрачно говорит он.

Я всплескиваю руками:

– Но почему же вы не скроетесь? – спрашиваю я шепотом. – Почему вы не бежите куда-нибудь?

– Бежать... – говорит он вяло. – А что будет с Люси? Да и не виноват я ни в чем, чего мне бегать...

В его квартире на Арбате тихо. Люси на работе. Сынишка, светлоглазый Владка, неслышно возится с игрушками в углу.

Сурово глядя на меня, Николай говорит:

– Галя, подберитесь, держите себя в руках. Мне не на кого надеяться, кроме вас. Вы должны быть около Люси, когда это случится. Вы должны позаботиться о Владке, если ее тоже заберут. Обещайте, что возьмете его себе, не отдадите в детский дом. Пусть Саша поможет Вам в этом. Пусть Саша позаботится о Владке, если и с Вами случится беда. Скажите ему, что я надеюсь на его дружбу.

Заливаюсь слезами:

– Коля, милый, что же происходит?

Он долго молчит, глядя в пол.

– Если бы я только мог понять, что происходит, – говорит он с тоской.

Через четыре дня его арестовали.

Я разыскала Фадеева в клубе писателей на Поварской. Мы сидим в какой-то пустой комнатке наверху, узкий стол разделяет нас, Саша сдержан и холодноват.

– Саша, Николай арестован, – говорю я.

– Ну и что же? – спрашивает он.

– Николай арестован, – повторяю я, думая, что он не понял меня.

Лицо его неожиданно вспыхивает.

– Какое мне дело до этого?

Я смотрю на него с удивлением. Это в первый раз я вижу, как отрекаются от друга. Сколько раз потом мне придется это видеть...

– Арестован – значит, есть за что. Даром, без вины, у нас не сажают.

– Но ведь ты же знаешь Николая... – говорю я беспомощно.

– Откуда мы знаем, с кем он путался? С какими бабами? Арестован – и черт с ним, с этим бабником.

А Николай надеялся на его дружбу... И я пришла сказать ему об этом.

Негодование и злоба поднимаются во мне.

– Да? Теперь он бабник? – говорю я сварливо. – А когда мы с тобой сидели за его столом... Когда ты привел его к нам...

Лицо его делается жестким. Губы сжимаются в узкий кружок. Ледяные, светлые глаза смотрят на меня в упор. Он перегибается ко мне через стол и очень отчетливо говорит:

– Не советую тебе вспоминать об этом.

Я отвожу глаза. Позорный, унижительный страх охватывает меня. Я сижу неподвижно, тщетно пытаюсь овладеть собой. Уйти, унести ноги, вот чего мне хочется...

Я боюсь его.

Молча я встаю. Я ухожу не прощаясь.

Он не окликает меня.

* * *

Поздней ночью в июне 1940 года я услышала осторожный стук в застекленную дверь, выходившую в маленький садик за домом.

Неясная женская фигура маячит за стеклом:

– Не бойтесь, впустите меня...

Но я колеблюсь.

– Я от Николая Христофоровича.

Измученная, грязная пожилая женщина сидит передо мной.

– Кто вы? – спрашиваю я, со страхом глядя на нее.
– Мой сын заключен вместе с Николаем Христофоровичем. Я прямо с поезда, оттуда...
– Боже мой! Подождите, я чаю сейчас... Как он? Что? Она делает усталый жест.
– Сядьте... Не надо ничего... Он умер. Убил себя. Я привезла вам письмо.

Маленький листочек, мелкий, изящный почерк Николая:

“Галюша,
мой последний день на исходе. И я думаю о тех, кого помянул бы в своей последней молитве, если бы у меня был хоть какой-нибудь божишко.

Я думаю и о Вас – забывающей, почти забывшей меня.

И, как всегда, я обращаюсь к Вам с просьбой. И даже с несколькими.

Во-первых, приложенное письмо передать Люси.

Во-вторых, возможно, что через 3–4 недели Вам напишут, будут интересоваться моей судьбой. Расскажите или напишите – что, мол, известно очень немного: учинил кражу со взломом, достал яд, и только. Остального-то и я не знаю. Кражу со взломом пришлось учинить, чтоб не подводить врача, выписавшую люминал (Бочкову), которым первоначально намеревался воспользоваться.

Хотя бы был гнусный, осенний какой-нибудь день, а то белая ночь. Из-за одной такой ночи стоило бы жить. Но не надо жалких слов и восклицаний, правда. Раз не дают жить, так не будем и существовать.

Если остался кто-либо поминающий меня добрым словом, – прощальный привет.

Нежнейше обнимаю Вас

Николай.

3.VI.40. Вандыш”.

Нет, я не плачу. Сухими, остановившимися глазами смотрю я на вестницу смерти. Отчаяние, ужас, боль, которой нет названия, терзают меня.

Устало, с простотой, от которой я холодею, она говорит:
– Он умер во сне, на его лице была улыбка. Не каждому там выпадает такая легкая смерть...

Этими страшными словами и я буду утешать завтра...
О Люси, Люси!

Николай был реабилитирован в 1956 году. Следовательно, который объявлял Люси о реабилитации, показал ей ордер на ее арест. Ордер находился в деле Николая.

– Почему же меня не арестовали? – спросила Люси.

– Вам просто повезло. О вас забыли в суматохе и беспорядке, которые царили при массовых арестах в то время.

Разговор в машине

Чьи-то шаги за моей спиной.

– Что ты делаешь в этом дворе?

За столько лет я не забыла этот голос!

Высокий, ладный, стоит он передо мной в элегантном светлом костюме.

– Иду от партнерши. А ты что делаешь в этом дворе?

– А здесь живет моя мама.

С невольным интересом смотрю на него.

– Ты, видимо, колдун, Саша. Не стареешь.

Усмехается.

– Пока жива моя мама, я еще молодой. Еще – сынок.

Идем к его машине. Толстая шоферша радуется, завидев меня:

– Батюшки! Галина Дмитриевна! Все там же? На Разгуляе?

В машине, просторной, как комната, он спрашивает:

– Сколько же лет мы не виделись?

– Тринадцать.

– Ты по-прежнему красивая.

– Что толку, Саша. Счастья нет.

– А у кого оно есть?

Перевожу разговор.

– Хорошее место у тебя в “Молодой гвардии”. Там, где Валя Борц читает в саду. С бабочкой...

Вздыхает:

– Писать некогда. Представительство заело. Завидую Петру, ему хорошо. Сидит на своей горе в Ялте и от всего отбивается анализом мочи.

Берет из моих рук папку с нотами.

– Что поешь?

Рассматривает ноты. Тихонько спрашивает:

– Трудновато живется?

Пожимаю плечами.

– Живу... Как все...

Он вынимает стило и на внутренней стороне обложки пишет несколько цифр.

– Вот тебе мой конспиративный телефон. Обещай мне позвонить, девочка, если придется туго. Я теперь много могу.

Говорю медленно:

– Должно быть, я здорово постарела. Раньше ты звал меня “старухой”, теперь говоришь мне “девочка”...

Молчание.

– Напиши-ка мне на папке пару частушек, из тех, что мы пели с тобой... Мне частушки нужны...

Смеется:

– Опомнись! По-моему, самая невинная из них была:

Ох и тошно мне,
Кто-то был на мне,
Сарафан не так,
И в руке пятак.

Кто тебе разрешит петь такое? Что ты делаешь завтра?

– Днем свободна, вечером концерт.

– Я пришлю за тобой машину. Приезжай на дачу. Все цветет в саду...

– Спасибо, но... не присылай. Не поеду.

Долгое молчание. И – без всякого выражения:

– Не ершись так, старуха. Просто не хочется расстаться опять на тринадцать лет...

Молчу, обезоруженная этой прямоотой.

Тихонько:

– А, старуха?

Говорю через силу:

– Ну, приезжай как-нибудь на пельмени...

Задумчиво:

– Пельмени, это хорошо. Это – правильный разговор. Свистни, и приеду.

– Я свистну, – обещаю я.

Мы уже подъезжаем к дому, когда он вдруг спрашивает:

– А толму ты еще готовишь?

У него какое-то странное, напряженное лицо.

– Толму? Да ведь нет виноградных листьев, – рассеянно отвечаю я.

Ночью, уже засыпая, я вдруг сажусь в постели, как от толчка...

Толма! Боже мой! Да ведь он вспомнил тот день, когда привел к нам Николая... Он хотел спросить о нем...

И не спросил.

* * *

Я позвонила ему через год.

Мы с партнершей были немолоды и непокладисты. И занимали место, которое могли бы занять более молодые и более сговорчивые женщины. Уволить нас не могли – мы были опытными певицами, голоса у нас звучали хорошо, и все просмотры мы проходили благополучно.

Тогда нас стали брать измором. Нас перестали занимать в концертах, так что мы не получали полной зарплаты, а только часть, так называемую гарантию, на которую жить было невозможно.

Я писала по шестьдесят страниц в день на машинке. Вязала кофты капризным старухам. Партнерша продала все, что было возможно. В течение двух месяцев я не могла попасть на прием к Лебедеву, председателю Комитета по делам искусств.

Тогда я вспомнила о Фадееве. Это был тот случай, когда мне “пришлось туго”.

В квартире Фадеева шел ремонт. Поэтому он попросил меня придти к нему на прием в Союз писателей.

И вот я сижу в залитой солнцем приемной, среди толпы ожидающих. Тут и делегация из Армении, и несколько грузинских писателей, и Елизар Мальцев, и какая-то низенькая, пухленькая поэтесса, которая украдкой рассматривает меня. Здесь все знают друг друга и никто не знает меня.

Мне назначено на четыре часа, но он не может принять меня сразу и дважды выходит из кабинета, чтоб извиниться передо мной. Две секретарши вьются вокруг меня, но так и не могут понять, кто я такая.

Меня забавляет любопытство, которое я вызываю, и я сижу с непроницаемым видом.

Наконец я вхожу в кабинет. Он поднимается мне навстречу из-за письменного стола.

— Ну, здравствуй, — ласково и устало говорит он. — Садись, рассказывай, что стряслось.

Рассказываю ему.

— Что же я должен сделать?

— Устрой так, пожалуйста, чтобы Лебедев принял и внимательно выслушал меня. И извини, что я затрудняю тебя этим.

— Ну, какое тут затруднение. Я завтра увижу его на совещании. Но, может быть, стоит бросить эстраду, старуха? Работала бы в каком-нибудь журнале или газете...

Качаю головой.

— Нет, Саша. Я люблю петь, люблю выходить на сцену. Да и не могу я оставить вот так, на мели, партнершу.

Мы улаживаемся, что он позвонит мне после разговора с Лебедевым, и я поднимаюсь, чтоб уходить.

Но он удерживает меня.

— Посиди еще...

Подперев голову рукой, он задумчиво смотрит на меня. Вид у него такой, что я спрашиваю, не болен ли он.

— Болен? — говорит он рассеянно. — Нет, просто устал, должно быть.

Он о чем-то спрашивает меня, я отвечаю, но разговор постепенно затухает. Он сидит все в той же позе, подперев голову рукой, и тяжелым, немигающим взглядом смотрит мимо меня.

Я не обижаюсь. Со мной тоже бывает это, такие провалы куда-то. Молчание повисает в комнате.

Я снова встаю.

— Пора идти, Саша.

Он медленно возвращается оттуда, где он был. И по его напряженному, странному лицу я вдруг понимаю, о чем он думал. С внезапно забившимся сердцем смотрю я на него. Я знаю, о чем он спросит меня сейчас.

— Ты что-нибудь знаешь о Николае? — спрашивает он.

Сколько раз в мыслях злобно, мстительно отвечала я ему на этот вопрос: "Ты не смеешь спрашивать о Николае". Вот она пришла, эта минута, когда я могу поквитаться с ним за тот разговор четырнадцатилетней давно-

сти, — и что же? Нет во мне ни злобы, ни негодования, и я напрасно пытаюсь вызвать их в себе, с тоской глядя в это неподвижное, сумрачное лицо.

— Покончил самоубийством в лагере, — говорю я тихо.

Он проводит рукой по лицу.

— Да. Так. Ну, прощай.

Медленно, угрюмо, тяжело волоча ноги, иду я по двору, мимо круглой клумбы, мимо флигеля, где жил когда-то Петр, где я любила бывать в той далекой, невозвратной, неправдоподобно беззаботной жизни.

Длинные вечерние тени лежат на раскаленном асфальте. Без цели, без мыслей бреду я по улицам, по которым шли мы с ним однажды зимней, снежной ночью...

Вот он и спросил...

* * *

Ох, как болят мои бедные ноги...

В неудобных туфлях на высоких каблуках прошла я вместе с молчаливой толпой утомительный путь от площади Пушкина до Дома Союзов.

Иду прощаться с Фадеевым.

Торжественно, медленно поднимается толпа по широким лестницам к Колонному залу, и я поднимаюсь с ней навстречу траурным рыданиям медных труб.

Мы вступаем в зал. Отделенный барьером, очень далеко, очень высоко, в ярком свете прожекторов, среди красных знамен, покрытый цветами, лежит он — и людская река безостановочно течет мимо него.

Был и в моей богатой печалью жизни какой-то яркий, счастливый, светлый период. Была счастливая любовь, уютный дом, удача во всем, талантливые, умные люди вокруг. Трое молодых, энергичных, веселых людей, связанных дружбой, — дружили со мной. Они были моими приятелями, добрыми спутниками этих ясных дней. Каждый из них по-своему был дорог моему сердцу.

Все ушли.

Замучен, погублен Николай. Ему не было сорока лет.

Нет Петра. С дырявыми легкими провоевал он две войны, и смерть, которая ползла за ним по финским снегам, плыла рядом в кипящей от разрывов воде Керчен-

ской бухты, — настигла его в мирный московский вечер за письменным столом. Мало было ему отпущено жизни.

И вот теперь последний лежит там, высоко, в цветах. Убил себя.

Неподвижно, стиснув руки, стою я в стороне от мерно движущейся толпы, милиционер неслышно подходит ко мне, заглядывает мне в лицо и, ничего не сказав, уходит...

...Как одиноки, как беззащитны мы перед этой жестокой силой, перед этой беспощадной жизнью, которая гнет, и ломает, и губит, и заставляет рваться к смерти и того, кто брошен за ворота концлагеря, и того, кто сумел достичь в жизни всего, чего может достигнуть человек...

Долгим, долгим взглядом смотрю я на далекое, странно-розовое, должно быть подкрашенное лицо под серебряными волосами... Медленно, сгорбившись, иду к выходу.

О, как тревожно, как смутно, как печально у меня на душе...

Прощай, моя молодость...

1959–1965

Публикация и вступительная статья В. Катаняна

О. Лекманов

О ВЕРОЯТНОМ АДРЕСАТЕ
ОДНОГО ПИСЬМА
О. МАНДЕЛЬШТАМА

В недавно вышедшем четвертом томе собрания сочинений Осипа Мандельштама под № 23 было впервые напечатано следующее короткое письмо поэта неустановленному лицу:

Юрочка!

Я в “Записках”.

Напиши мне, что тебе удалось сделать.

Я позвоню к тебе оттуда

547 02¹

Публикаторы письма, П. Нерлер и А. Никитаев, резонно датируют его 1913 годом – в этом году в девятом номере петербургских “Северных записок” (под “Записками” в письме, по всей видимости, подразумевался именно этот журнал) появились два мандельштамовских стихотворения.

Что можем мы, внимательно прочитав письмо Мандельштама, сказать о “Юрочке”?

Во-первых, он участник литературной жизни (по-скольку и по сокращенному названию журнала должен понять, о каком издании идет речь). Во-вторых, он петербуржец. В-третьих, Мандельштам с ним на “ты”.

Среди знакомых Мандельштама только один “Юрочка” соответствовал всем этим условиям. Мы говорим о Георгии Иванове, “Юрочке, как его звали”².

Напомним, что 1913 год был годом наиболее интенсивного общения двух поэтов, свидетельством чего

является в первую очередь стихотворение Мандельштама “От легкой жизни мы сошли с ума...” (1913), первоначальный вариант которого сопровождался, как известно, посвящением: “Юрочке милому”³.

¹ Мандельштам О. Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. Т. 4. С. 21.

² Одоевцева И. На берегах Сены. М., 1989. С. 167.

³ Подробнее об этом стихотворении и о месте, которое занимает в нем Георгий Иванов, см.: *Лекманов О.А.* По сравнению с 1913 годом (Об одном “ерундовом” стихотворении Мандельштама). / *Лекманов О.А.* Опыты о Мандельштаме. // Учен. зап. Московского культурологического лицея № 1310. Серия: филология. 1997. Интересно, что в одном из черновых вариантов стихотворения упоминаются “С утра <...> записки...”. Между прочим, в позднейших мемуарах Георгия Иванова речь идет и о “Северных записках”: “Раз или два напечатала Мандельштама эстетка С.И. Чацкина в своих “Северных записках”” (*Иванов Г.* Собр. соч.: В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 621). Отметим, что имена Мандельштама и Георгия Иванова в печати также были впервые упомянуты рядом в “Северных записках”. См. в рецензии Андрея Полянина [С. Парнок] на книгу Иванова “Вереск”: «Автор “Вереска” такой молодой поэт, что Анна Ахматова доводится ему почтенной тетушкой, а О. Мандельштам – почтенным дядюшкой» (Северные записки. Пг., 1916. № 7–8. С. 238).

Ю. Фрейдин

МАНДЕЛЬШТАМОВЕДЧЕСКИЙ
КОММЕНТАРИЙ
К ВОСПОМИНАНИЯМ ПЕТРА ЗАЙЦЕВА
ОБ АНДРЕЕ БЕЛОМ

Эта часть обширного мемуарного наследия Петра Никаноровича Зайцева опубликована в известном сборнике, посвященном жизни и творчеству Андрея Белого¹. Последний эпизод в этих воспоминаниях такой: *“Через несколько дней после похорон (Андрея Белого. – Ю.Ф.) я был в Доме писателей в Нащокинском у О.Э. Мандельштама. Он сказал, что никогда не писал стихов по поводу чьей-либо смерти, а на смерть Андрея Белого написал. Осип Эмильевич передал мне свои стихи. Их не удалось опубликовать в то время. Воспроизвожу их по сохранившемуся у меня автографу О. Мандельштама”*. Далее следует текст одного из вариантов стихов на смерть Андрея Белого под заголовком “Утро 10 янв. 1934 года”, датированный “16–21 янв. 34 г.” и подписанный: “О. Мандельштам”.

Интересно, что в воспоминаниях Зайцева о Белом (во всяком случае, в той их публикации, о которой здесь идет речь) не упомянуто, что похороны и кремация Белого состоялись 10 января 1934 г., зато написано: “18 января урна с прахом была захоронена на кладбище Новодевичьего монастыря”. Не присутствовал ли Зайцев сам при этом захоронении? Тогда фраза: “Через несколько дней после похорон” – может быть предположительно уточнена: через несколько дней после з а х о р о н е н и я. Промежутку в “несколько дней” крайняя дата под стихами Мандельштама – 21 января 1934 г. – соответствует гораздо лучше, если считать, что эти “несколько дней”

прошли не буквально “после похорон” (т. е. после 10 января), а после захоронения урны (18 января).

И еще несколько вопросов чисто мандельштамоведческого характера возникло при чтении воспоминаний Зайцева и публикации сохраненного им мандельштамовского текста.

Во-первых, очевидна неполнота опубликованного варианта в сравнении с тем корпусом стихотворений на смерть Андрея Белого, который был известен нам уже в начале 60-х годов, но, возможно, не был известен П.Н. Зайцеву в период его работы над этой частью мемуаров². Эта неполнота, скорее всего, была неполнотой самого публикуемого текста, зафиксировавшего один из этапов работы Мандельштама над реквиемом Белому. Но конечной ясности в этот вопрос публикация не вносила.

Во-вторых, было неясно, что означает строка отточий на том месте, где должна бы находиться строфа: *“И льется вспять, еще ленясь и мерясь, То мерой льна, то мерой волокна, И льется смолкой, сам себе не верясь, Из ничего, из нити, из темна”*; воспроизведенный в сборнике текст не давал оснований для каких-либо четких предположений.

В-третьих, казался очень неожиданным и похожим скорее всего на результат опечатки эпитет “согревающий” вместо известного нам “созревающий” в строке: *“И созревающий и тянущийся вес”*.

В-четвертых, было ясно: зафиксированная П.Н. Зайцевым фраза Мандельштама о том, что он *“никогда не писал стихов по поводу чьей-либо смерти”*, имеет смысл не совсем буквальный. Семнадцатью годами раньше Мандельштамом уже были написаны траурные стихи — на смерть матери: *“Эта ночь непоправима...”* и *“Еще далёко асфodelей...”* (“Меганом”). Первое из них тогда же было вписано Сергием Платоновичем Каблуковым в его знаменитый дневник (под заголовком “На погребение матери”, по-видимому не принадлежащим поэту, но являющимся комментирующей надписью автора дневника). В те же примерно годы было создано стихотворение по поводу самоубийства человека, имя которого так до сих пор и не удается установить (“Телефон”). Однако стихов в жанре “на смерть поэта” Мандельштам прежде действительно не писал. Видимо, именно так и следует понимать запомнившиеся Зайцеву слова.

Стихи на смерть Андрея Белого – это цикл, в наиболее полном варианте включающий семь стихотворений: “Голубые глаза и горячая лобная кость...”, “10 января 1934 года” (“Меня преследуют две-три случайных фразы...”), “Когда душе и торопкой, и робкой...”, “Ему кавказские кричали горы...”, “Он дирижировал Кавказскими горами...”, “А посреди толпы задумчивый, брадатый...” и “Откуда привезли? Кого? Который умер?..”.

О попытках его публикации при жизни автора нам ничего не известно. Спустя четыре месяца после начала работы над циклом Мандельштам был арестован, а затем в течение четверти века его стихи на родине не издавались.

Что же означают тогда слова Петра Никаноровича об этих стихах: “*Их не удалось опубликовать в то время*”?

В предисловии к публикации сказано, что П.Н. Зайцев был поэтом, литератором, драматургом и редакционно-издательским работником. Автор предисловия упоминает, что в 1922 г., когда П.Н. Зайцев работал секретарем редакции “первой советской газеты московских литераторов” (“Московский понедельник”), он привлек к сотрудничеству в ней и Мандельштама.

Действительно, в этой газете 14 августа 1922 г. напечатано стихотворение “Декабрист” (“Тому свидетельство – языческий сенат...”), а 11 сентября 1922 г. – “Виноград” (“Золотистого меда струя из бутылки текла...”)³. Недавно были опубликованы воспоминания Зайцева, где он рассказывает и о своих встречах с Мандельштамом в те годы⁴.

В 1923 г. П.Н. Зайцев издает книгу собственных стихотворений “Ночное солнце” – заголовок, для знатока и любителя поэзии тех лет отчетливо восходящий к строкам из мандельштамовских стихотворений “Когда в теплой ночи замирает...” и “В Петербурге мы сойдемся снова...”⁵.

В 30-е годы он работает редактором в Госиздате. Возникает естественный вопрос: а не пытался ли сам мемуарист в январе 1934 г. или чуть позднее “протолкнуть в печать” стихи Мандельштама, печатавшегося в последний раз не так уж давно – в 1932 г.⁶? Тогда фразу “их не удалось опубликовать” следует понимать совершенно буквально – как отражающую личный опыт Зайцева. В этом случае немного иначе обрисовываются и обстоя-

тельства получения им рукописи: текст был дан не просто на память, но, возможно, в ответ на предложение попытаться “пристроить” эти стихи. Посмертное признание последнего лидера русского символизма (официальные похороны с почетным караулом, некролог в правительственной газете – “Известиях”) казалось несомненным, и Мандельштам, легко дававшего надежде увлечь себя, наверное, нетрудно было убедить, что вслед за некрологом могут быть опубликованы и стихи на смерть Андрея Белого.

В феврале 1995 г. я смог познакомиться с этой рукописью⁷. Два пожелтевших от времени полноформатных листа, заполненных каждый с одной стороны. Текст записан перьевой ручкой, синими чернилами. Перо цеплялось за бумагу, ставило кляксы. Чернила расплывались.

Это не мандельштамовский автограф. Это список, выполненный Надеждой Яковлевной Мандельштам. Рукой Осипа Эмилевича вписаны только три строки.

Первая: в самом верху первого листа, крупными буквами, заголовок: “*Утро 10 янв. 1934 года*”. Цифры года частично маскируются чернильной кляксой. Вторая: в конце второго листа, справа, дата: “*16–21 янв. 34 г.*” (две палочки в цифре “4”, написанной как “Ч”, соединены сверху расплывшимися чернилами так, что можно бы заподозрить на этом месте цифру “9”, но, во-первых, это хронологически абсурдно, а во-вторых, Мандельштам девятку так не писал). Третья (еще ниже и правее даты) – подпись: “*О. Мандельштам*”.

Первое из трех стихотворений цикла, вошедших в публикацию воспоминаний Зайцева, уместилось целиком на одном листе, второе и третье – на другом. Они пронумерованы. После каждой нумерующей цифры (это не передано в публикации) стоит точка.

Другие детали, не попавшие в публикацию. Во-первых, отточия на месте третьего четверостишия во втором из этих стихотворений, равно как и неожиданный эпитет “согревающий” вместо “созревающий”, являются, как и предполагалось, артефактами. По сведениям И.Ю. Охлопкова, замена строфы строчкой отточий – результат типографской ошибки при публикации⁸. Что касается строки: “*И созревающий, и тянущийся весь*”, – то в ней в слове “созревающий” из-за расплывшихся на бумаге чернил “з” вполне может показаться похожей на “г”, но

при более внимательном рассматривании становится видно, что это по начертанию действительно “з” (что соответствует и смыслу строки, и известным нам вариантам текста стихотворения).

Еще несколько разночтений касаются знаков препинания. В конце седьмой строки первого стихотворения, после фразы: *“Где горькая украдка”* – Надежда Яковлевна (в отличие от публикаторов или редакторов сборника) не поставила вопросительного знака. В конце двенадцатой строки, после фразы *“С голуботвердой чокаясь рекой...”*, у нее проставлено многоточие (в публикации – знак вопроса, в какой-то мере соответствующий пунктуационным нормам).

И наконец, в первой строке третьего стихотворения в рукописи знак препинания отсутствует: *“Дышали шуб меха. Плечо к плечу теснилось”*. Согласно правилам орфографии он, конечно, необходим. Публикаторы поставили здесь запятую.

Несколько слов по поводу внешнего вида рукописи, в частности поправок и зачеркиваний. Четыре из пяти поправок явно вызваны тем, что Надежда Яковлевна восстанавливала попорченное чернильной кляксой слово. Одна поправка – в конце слова “разветвление”, в строке *“И европейской мысли разветвление”* Надежда Яковлевна, по-видимому, сначала написала “я”, а затем исправила его на “е”. Как будто она писала, а Осип Эмильевич, диктуя, ходил по комнате, время от времени заглядывая ей через плечо и просил исправить место, испорченное кляксой, или такую флексию, которая, как в слове “разветвление”, не очень четко воспринималась на слух и была зафиксирована с ошибкой.

Аналогичным образом в конце восьмой строки первого из стихотворений (*“Где ясный стан? Где прямизна речей,”*) запятая, диктуемая синтаксисом причастного оборота, открывающего следующее четверостишие (*“Запутанных, как честные зигзаги”*), проставлена как исправление вместо первоначально стоявшего здесь вопросительного знака.

В конце третьего четверостишия второго стихотворения (*“И льется вспять...”* – см. выше) Надежда Яковлевна, по-видимому, сначала поставила многоточие, но затем исправила его на запятую. На законченном списке Осип Эмильевич вписал заголовок, дату и подписался.

В пятнадцатой строке третьего стихотворения (“*Для пальцев гипсовых, не держащих пера,*”) в слове “держащих” кто-то карандашом поставил ударение над буквой “е”. Может быть, это сделал П.Н. Зайцев – читатель, владелец и хранитель рукописи.

Вопрос о текстологическом статусе данного списка решается чрезвычайно легко благодаря эдиционному подходу, избранному П. Нерлером, составителем мандельштамовского двухтомника 1990 г.⁹ Там на 405–406-й страницах первого тома среди приложений к стихам Андрею Белому мы находим текст, основой для которого, как можно понять из комментария на с. 536, послужил находящийся в Архиве Мандельштама список, выполненный братом Надежды Яковлевны, Евгением Яковлевичем Хазиным, и датированный 16–22 января 1934 г., то есть законченный на следующий день после завершения варианта, переданного Мандельштамом Зайцеву.

В нашем собрании фотокопий Архива Мандельштама, восходящем к негативам и отпечаткам, сделанным еще при жизни Надежды Яковлевны, имеется и копия “хазинского списка”. Он озаглавлен просто “10 января 1934” – тем самым слова “Утро” и “года” в дошедших до нас вариантах заголовка больше не фигурируют.

Он, как и “зайцевский”, состоит из трех стихотворений. Больше всего различаются между собой первые. В “хазинском списке” первое стихотворение содержит пять строф, причем четвертое и пятое четверостишия начинаются, соответственно, строками “*Он дирижировал Кавказскими горами...*” и “*Толпы умов, влияний, впечатлений...*”. В дальнейшем (см. с. 407 первого тома двухтомника) поэт вновь возвращается к тому варианту первого стихотворения, который зафиксирован в “зайцевской” рукописи.

Это – самые яркие отличия. Остальные касаются отдельных строк, слов и знаков препинания, что является сугубо текстологическими деталями, не имеющими существенного значения для установления окончательного текста стихотворения, тем более что Мандельштам еще достаточно долго работал над ним и, по мнению наиболее авторитетных исследователей¹⁰, работа так и не дошла до стадии полного завершения.

Просмотр архивных материалов и тех копий, которыми мы располагаем, показывает, что Евгений Яковлевич записал под диктовку Осипа Эмильевича (о том, что именно под диктовку, не раз говорила Н.Я. Мандельштам) по крайней мере два варианта стихов, посвященных Андрею Белому. Первый из них имеет датировку “16/Г”, т. е. 16 января 1934 г. О нем мы здесь говорить не будем.

Второй записан сразу за первым. Он начинается прямо вслед за датой первого варианта, на той же странице, и датирован, как уже упоминалось выше, “16–22/Г”, т. е. 16–22 января 1934 г.¹¹ Однако это список не подробный (в отличие от “зайцевского”), а сокращенный, “конспективный”¹².

Первое из трех входящих в него стихотворений начинается строчкой отточий, за которой следует: *“С голу-ботвердой чокаясь рекой”* – последняя строка той части стихотворения, которая в этом варианте остается неизменной.

Во втором стихотворении строчка отточий поставлена после строки *“Лиясь для ласковой только что снятой маски...”* – это означает, что последующая часть стихотворения не меняется в данной записи сравнительно с предыдущим (по-видимому, “зайцевским”) вариантом.

В третьем стихотворении записана только одна, первая строка, и то не целиком: *“Дышали шуб меха, плечо к плечу”*. Дальше нет многоточия, но ниже – снова строка точек: текст третьего стихотворения не меняется!

Таков вариант, прижизненная датировка которого обязывает нас поставить его сразу вслед за рукописью, которую О.Э. Мандельштам отдал П.Н. Зайцеву. Если считать, что Мандельштам отдал Зайцеву список, считавшийся на тот момент “беловым” (окончательным), то получается, что уже на следующий день он сам от этого мнения отказался и внес в “зайцевский” текст целый ряд изменений.

Наиболее интересным для истории работы Мандельштама над текстом стихов Андрею Белому является заголовок “зайцевской” рукописи, не сохраненный в таком виде никакими иными известными нам источниками. За семь лет, прошедших с момента выхода сборника об Андрее Белом, это обстоятельство никак не было отражено в мандельштамоведческих публикациях¹³.

Восполнить этот пробел, исправить ошибки, вкрапившиеся в мандельштамовский текст при публикации воспоминаний Зайцева, а также откомментировать “мандельштамовскую” часть этих воспоминаний – такова была цель данных заметок.

¹ См.: *Зайцев Петр*. Московские встречи (из воспоминаний об Андрее Белом) / Предисл. Ю. Юшкина. Публ. и примеч. В.[П]. Абрамова // *Белый Андрей*. Проблемы творчества: Статьи, воспоминания, публикации / Сост. Ст. Лесневский, Ал. Михайлов. М., 1988. С. 557–591.

² Между 1955 и 1970 гг.; к сожалению, более точная дата не указана.

³ Мандельштам Осип Эмильевич // *Русские писатели и поэты: Библиогр. указ. М., 1990. Т. 13. С. 136.*

⁴ *Зайцев П.* Первая московская литературная газета “Московский понедельник” // *Минувшее: Ист. альманах*. Кн. 13. М.; СПб., 1993.

⁵ Вот соответствующие строки: “Это солнце ночное хоронит...” (“Когда в теплой ночи замирает...”), “...А ночного солнца не заметишь ты” (“В Петербурге мы сойдемся снова...”). Стихи эти были достаточно известны. Первое из них, созданное в 1918 г., печаталось в периодике в 1918 и 1919 гг. (см. вышеупомянутый библиографический указатель, с. 134) и вошло во “Вторую книгу” (М.; Пб., 1923. С. 32). Второе, написанное в конце 20-го года, было включено вместе с пятью другими стихотворениями Мандельштама в сборник “Петербург в стихотворениях русских поэтов” (Берлин, 1922. С. 113) и вошло в книгу “*Tristia*” (Пб.; Берлин, 1922. С. 46).

⁶ Последним годом прижизненных публикаций стихотворений Мандельштама стал 1932-й (Новый мир., № 4, 6; Литературная газета. 1932. 23 нояб.).

⁷ Пользуясь случаем выразить признательность И.Ю. Охлопкову, предоставившему мне такую возможность.

⁸ Жертвой издательской ошибки может стать каждый. Так, в нашей с С.В. Василенко публикации полного корпуса стихотворений Мандельштама на смерть Андрея Белого (см.: *День поэзии 1986*, Москва. М., 1986. С. 106–108) из-за нарушения порядка страниц в представленной нами машинописи шесть строф второго стихотворения были оттиснуты между двух строф четвертого, ввиду чего реконструкция замысла публикаторов превратилась даже для квалифицированных читателей в работу почти головоломную.

⁹ *Мандельштам О.Э.* Соч.: В 2 т. Т. 1. Стихотворения / Сост., подгот. текста и коммент. П. Нерлера. М., 1990.

¹⁰ *Семенко И.* Стихи Андрею Белому // *Она же*. Поэтика позднего Мандельштама (От черновых редакций к окончательному тексту) / Изд. 2-е, доп. М., 1997. С. 82–85.

¹¹ Характерно, что в обоих случаях римская цифра месяца прочерчена так жирно, как это не свойственно автору рукописи. Кажется, это – римская единица, исправленная из арабской. Исправление сделано, по-видимому, рукой Е.Я. Хазина. Вновь создается впечатление, что Осип Эмильевич диктовал, расхаживая по комнате, время от времени

заглядывал в текст через плечо своего шурина и помощника и просил внести в рукопись необходимые исправления. Сам поэт, когда фиксировал месяц не словесным, а числовым обозначением, чаще всего пользовался именно римскими цифрами.

То, как выглядит вся запись обоих этих вариантов в “хазинском списке”, позволяет высказать еще одно предположение: несмотря на каллиграфический почерк Е.Я. Хазина, запись является не беловой, не окончательной, а предварительной, рабочей. Два варианта цикла продиктованы и записаны подряд, один за другим, “на одном листе” – для сравнения, в связи с уже осознанной автором необходимостью дальнейшего композиционного поиска.

¹² Мандельштаму не раз случалось прибегать к сокращенной записи своих стихов. Иногда законченные строки отмечались не многоточием (как это сделано в “хазинском списке”), а сокращенной словесной записью.

¹³ Настоящая публикация готовилась нами в начале 1995 г. Во второй его половине вышел однотомник стихотворений Мандельштама в новой серии “Библиотеки поэта” – издание, являющееся, на наш взгляд, очередной прекрасной иллюстрацией как возможностей эдического произвола, так и нейтрального отношения к нему самых разных лиц и институций. В этом издании зайцевский список учтен и приводится заголовок: “Утро 10 янв. 1934 года”.

СОДЕРЖАНИЕ

ПАМЯТИ ИОСИФА БРОДСКОГО

<i>П. НЕРЛЕР. Мандельштамовская конференция в Лондоне . . .</i>	7
<i>М. ПАВЛОВ. Бродский в Лондоне, июль 1991.</i>	12
<i>И. БРОДСКИЙ. Ответ на анкету Мандельштамовского общества</i>	64

ВОСПОМИНАНИЯ

<i>И. ХАНЦЫН. О Мандельштаме. Публикация, послесловие и примечания П. Нерлера</i>	67
<i>Н. СОКОЛОВА. Кое-что вокруг Мандельштама. Разрозненные странички</i>	74
<i>О. ОВЧИННИКОВА. Мои воспоминания о поэте Осипе Эмильевиче Мандельштаме. Подготовка текста и примечания С. Василенко.</i>	97
<i>Г. фон МЕКК. “Такими я их помню...” (Фрагмент из мемуаров). Перевод с английского и послесловие О. Лекманова</i>	101

МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ

<i>“Некий еврей Мандельштам...” По документам Департамента полиции. Публикация, предисловие и примечания Д. Зубарева и П. Нерлера</i>	105
<i>Я. ЛЕОНТЬЕВ. Человек, застреливший императорского посла. (К истории взаимоотношений Блюмкина и Мандельштама)</i>	126
<i>А. ДЕЙЧ. Две дневниковые записи. Публикация Е. Дейча</i>	145
<i>Р. ТИМЕНЧИК. Осип Мандельштам в Батуме в 1920 году</i>	147

Материалы к биографии О.Э. Мандельштама в архиве Б.В. Горнунга. <i>Предисловие, публикация и примечания М.Б. Горнунга</i>	151
Публикации Н. Волькенау о творчестве О.Э. Мандельштама в журнале “Гермес”. <i>Предисловие и примечания М.Б. Горнунга</i>	164
Письмо А.Г. Горнфельда А.Р. Палею. <i>Публикация и вступительная заметка О. Лекманова</i>	175

СОВРЕМЕННОКИ

<i>И. СИНЕНИ</i> . Психиатр Борис Наумович Синени.	179
<i>В. НЕКРАСОВА</i> . О семье Бруни	186
Варвара Борисовна Некрасова. Автобиографическая справка.	214
<i>Е. ЗЕНКЕВИЧ</i> . О Павле Зенкевиче	221
<i>Г. КАТАНЯН</i> “Иных уж нет, а те далече...” Главы из книги. <i>Публикация и вступительная статья В. Катаняна</i>	224
<i>О. ЛЕКМАНОВ</i> . О вероятном адресате одного письма О. Мандельштама	235
<i>Ю. ФРЕЙДИН</i> . Мандельштамоведческий комментарий к воспоминаниям Петра Зайцева об Андрее Белом	237
<i>А. КОБРИНСКИЙ</i> . К проблеме акмеистической линии в русской литературной традиции. Поэзия Н.М. Максимова	246
<i>Б. ФРЕЗИНСКИЙ</i> . Университетское личное дело Н.Я. Хазинной.	258
<i>Л. ВОЛОДАРСКАЯ</i> . Материалы к библиографии И.Б. Мандельштама	260
<i>Н. РЫКОВА</i> . О Софье Викторовне Поляковой	264

ВЕНОК МАНДЕЛЬШТАМУ

Публикация О. Лекманова

<i>Ю. ДЕГЕН</i> . “Мы мудрый обрели покой...”	271
<i>Р. СКОМОРОВСКИЙ</i> . “И только нам удел Дамокла...”	272
<i>Б. ЗУБАКИН</i> . Дм. Шепеленке. Икспромт о его тетради.	273

**Сохрани мою речь. Вып. 3. Часть 2. М.:
Российск. гос. гуманит. ун-т, 2000. 277 с.**

ISBN 5-7281-0378-2

Книга представляет собой очередной выпуск трудов Мандельштамовского общества, работающего в Российском государственном гуманитарном университете. В нее вошли работы отечественных и зарубежных исследователей, посвященные жизни и творчеству О.Э. Мандельштама, публикации.

Особый интерес представляют мемуарные свидетельства современников, касающиеся как великого поэта, так и людей, его окружавших.

Для литературоведов и широкого круга читателей.

ББК 83.3 (2Рос=Рус)6

Научное издание

Сохрани мою речь

В ы п. 3

Ч а с т ь II

Воспоминания. Материалы к биографии.
Современники

Редактор

М.А. Дзюбенко

Художественный редактор

М.К. Гуров

Корректор

А.И. Сорнева

Технический редактор

Г.П. Каренина

Компьютерная верстка

Г.И. Гаврикова

ЛР № 020219, выд. 25.09.96
Подписано в печать 04.09.2000
Формат 84 × 108 ¹/₃₂
Усл. печ. л. 14,7
Уч-изд. л. 15,8
Тираж 1000 экз.
Заказ № 122

Издательский центр РГГУ
125267, Москва, Миусская пл., 6
Тел. 973-4200